Créme de la Créme

Пол Боулз

ПУСТОЙ АМУЛЕТ

Kolonna Publications
Митин Журнал
2008

ББК 84.4 США

Серия «Crème de la Crème»
является совместным проектом
издательств “Kolonna Publications”
и «Митин Журнал»

Пол Боулз
ПУСТОЙ АМУЛЕТ
Рассказы 1976–1993

Редактор: Максим Немцов
Оригинал-макет и верстка: Сергей Фёдоров
Обложка: Владимир Казак
Руководство изданием: Дмитрий Боченков

© Paul Bowles, 1992
© Дмитрий Волчек, 2008
© Кристина Лебедева, 2008
© Максим Немцов, 2008
© Валерий Нугатов, 2008
© Kolonna Publications, 2008
© Митин Журнал, 2008

ISBN 978-

Содержание

Аллал, *пер. М. Немцова* 7
Вы забыли в автобусе свои лотосовые стручки, *пер. В. Нугатова* 20
Увольнение, *пер. Д. Волчека* 31
Мадам и Ахмед, *пер. К. Лебедевой* 39
Киска, *пер. Д. Волчека* 45
Муж, *пер. Д. Волчека* 50
В «Крунгтеп-плазе», *пер. Д. Волчека* 57
Буаяд и деньги, *пер. Д. Волчека* 65
Домик, *пер. Д. Волчека* 69
Пустой амулет, *пер. К. Лебедевой* 78
Сплетня и лестница, *пер. Д. Волчека* 83
В красной комнате, *пер. Д. Волчека* 93
Массачусетс, 1932, *пер. М. Немцова* 105
Нью-Йорк, 1965, *пер. М. Немцова* 112
Танжер, 1975, *пер. М. Немцова* 120
Джулиан Вриден, *пер. Д. Волчека* 128
Хью Харпер, *пер. Д. Волчека* 131
Неприятные слова, *пер. В. Нугатова* 135
Неуместный визит, *пер. Д. Волчека* 154
In absentia, *пер. Д. Волчека* 159
Ужин у сэра Найджела, *пер. Д. Волчека* 186
Слишком далеко от дома, *пер. В. Нугатова* 191

Аллал

Он родился в гостинице, где работала мать. Всего три темных комнатушки выходили во двор за баром. Дальше было патио поменьше, куда открывалось много дверей. Здесь жила прислуга, и здесь Аллал провел детство.

Грек, хозяин отеля, услал мать Аллала прочь. Он негодовал, поскольку она, четырнадцатилетняя девчонка, работая на него, осмелилась кого-то родить. Признаваться, кто отец, она не хотела, и хозяина злила мысль, что он сам не воспользовался ею, хотя мог бы. Он заплатил девчонке за три месяца вперед и велел ехать домой в Марракеш. А поскольку повару и его жене девчонка нравилась и они предложили ей пожить некоторое время с ними, хозяин согласился, чтобы она осталась, пока младенец подрастет немного и сможет вынести переезд. Она осталась жить в заднем дворике вместе с поваром и его женой, а потом в один прекрасный день исчезла, оставив им ребенка. Никто о ней больше ничего не слышал.

Как только Аллал подрос так, что мог носить тяжести, ему стали давать работу. Прошло совсем немного времени, и он уже таскал ведро с водой из колодца за отелем. У повара и его жены детей не было, поэтому он играл один.

Став постарше, он начал бродить в одиночестве по пустому плоскогорью снаружи. Там стояли казармы – их окружала высокая и глухая стена из красного самана. Все остальное располагалось ниже,

в долине – город, сады и река, что вилась к югу меж тысячью пальм. Аллал сидел на выступе скалы и рассматривал сверху людей, бродивших по городским переулкам. Лишь гораздо позже он зашел туда сам и увидел, что там за люди. Поскольку мать его бросила, его называли сыном греха и, глядя на него, смеялись. Ему казалось, что тем самым они надеялись превратить его в тень, чтобы не считать его настоящим и живым. Аллал с ужасом ждал, когда ему каждое утро придется ходить в город и работать. Пока же он помогал на кухне и прислуживал офицерам из казарм, а заодно и автомобилистам, что проезжали через ту местность. В ресторане ему давали немного на чай, бесплатную еду и постель в каморке для прислуги, однако жалованье грек ему не платил. Со временем он достиг возраста, когда такое положение стало казаться постыдным, и по своей воле спустился в город и начал там работать со сверстниками – помогал лепить глиняные кирпичи, из которых люди строили себе дома.

Такую жизнь в городе он себе и представлял. Два года прожил он в комнатушке за кузницей: не ссорился ни с кем, откладывал весь заработок – кроме того, что нужно было на жизнь. Так и не найдя себе за это время ни единого друга, он глубоко возненавидел всех горожан, никогда не дававших ему забыть, что он – сын греха, а значит не похож на других, *мехот,* про́клятый. Потом он нашел себе в пальмовых рощах за городом домик – просто хижину. Платить нужно было немного, а рядом никто не жил. Аллал и поселился там, где шумел только ветер в кронах, а людей старался избегать.

Однажды жарким летним вечером вскоре после заката он шел под арками у главной площади города. В нескольких шагах впереди какой-то старик в белом тюрбане пытался перекинуть тяжелый мешок с одного плеча на другое. Вдруг мешок упал на землю, и Аллал увидел, как из него выскользнули два темных росчерка и исчезли в тенях. Старик кинулся на мешок и завязал его, крича: Берегитесь змей! Помогите мне найти моих змей!

Многие быстро повернулись и ушли туда, откуда явились. Другие встали поодаль. Некоторые закричали старику: Ищи своих змей побыстрее и уноси их отсюда! Зачем они здесь? Не хотим мы никаких змей у нас в городе!

Встревоженно ковыляя взад-вперед по улице, старик обратился к Аллалу: Посмотри за ним минутку, сынок. И показал на мешок, лежавший у его ног на земле. Потом схватил корзину, которую тоже нес с собой, и быстро свернул в переулок. Аллал остался на месте. Мимо никто не проходил.

Вскоре старик вернулся довольный, отдуваясь. Стоило зевакам на площади снова увидеть его, как они закричали, на этот раз – Аллалу: Покажи этому *беррани* дорогу из города! Он не имеет права носить сюда такое! Вон! Вон!

Аллал поднял большой мешок и сказал старику: Пойдем.

Они оставили площадь и переулками вышли к городской окраине. Там старик поднял голову, увидел как в угасающем небе чернеют пальмы, и повернулся к мальчику.

Пойдем, снова сказал Аллал и свернул влево по неровной тропе, что вела к его дому. Старик в недоумении остановился.

Сегодня можешь остаться у меня, сказал ему Аллал.

А они? – спросил старик, показав сначала на мешок, а потом на корзину. Они должны быть при мне.

Аллал усмехнулся: Они тоже.

Когда устроились в домике, Аллал посмотрел на мешок и корзину. Я не такой, как все остальные здесь, сказал он.

От того, что слова прозвучали, ему стало хорошо. Он презрительно махнул рукой. Боятся идти через площадь из-за змеи. Ты сам видел.

Старик почесал подбородок. Змеи – что люди, сказал он. Их нужно узнать поближе. Тогда можно стать им другом.

Аллал подумал немного и спросил: А ты их когда-нибудь выпускаешь?

Всегда, с силой ответил старик. Все время внутри им плохо. Они должны быть здоровыми, когда доберутся до Тарудана, иначе человек там их не купит.

Он пустился в долгую историю о своей жизни охотника на змей: каждый год он отправляется в Тарудан к человеку, которых их покупает для айссауйских заклинателей в Марракеше. Слушая его, Аллал приготовил чай и вынес миску пасты из кифа – заедать чай. Позже, когда они уже удобно расположились среди клубов дыма из трубок, старик хмыкнул. Аллал повернулся к нему.

Я выпущу их?

Запросто!

Только ты должен сидеть тихо и не шуметь. Подвинь ближе лампу.

Он развязал мешок, встряхнул его и вернулся на место. В молчании Аллал наблюдал, как длинные тела осторожно выползают на свет. Среди кобр были и другие – с такими тонкими и совершенными узорами, что их, казалось, нанесла рука мастера. Одна золотисто-красная змея, лениво свернувшаяся на полу, была особенно прекрасна. Глядя на нее, Аллалу невыносимо захотелось ею владеть и постоянно держать при себе.

Старик продолжал. Я всю жизнь провел со змеями, говорил он. Я мог бы тебе о них много чего рассказать. Ты знаешь, что если давать им *маджун,* их можно заставить делать все, чего тебе хочется – не произнося при этом ни слова? Клянусь Аллахом!

На лице Аллала проступило сомнение. Нет, не в истинности этого утверждения сомневался он, а, скорее, в том, сможет ли сам применить это знание. Поскольку именно в тот миг ему в голову пришла мысль на самом деле забрать себе змею. Как бы ни было, делать это нужно быстро, думал он, ведь старик утром уйдет. Неожиданно его охватило нетерпение.

Убери их, чтобы я приготовил ужин, прошептал он. Он сидел и любовался ловкостью, с которой старик брал каждую змею за голову и совал в мешок. Однако, двух снова бросил в корзину, и одной, заметил Аллал, была красная. Ему чудилось, что он видит, как сквозь плетеную крышку сияют ее чешуйки.

Занявшись едой, Аллал старался думать о другом. Но поскольку змея не шла у него из головы, он стал придумывать, как ее заполучить. Присев на корточки над огнем в углу, он смешал немного пасты из кифа с молоком в миске и отодвинул.

У старика рот не закрывался. Повезло, что удалось вернуть этих двух змей вот так, посреди города. Никогда не знаешь, что люди сделают, если обнаружат, что носишь змей. Однажды в Эль-Келаа они всех вытащили и убили, одну за другой, прямо у меня на глазах. Год работы. Пришлось вернуться домой и начать все снова.

Уже за едой Аллал заметил, что гостя клонит в сон. Как же это произойдет? – спросил себя он. Никогда не скажешь заранее, что станешь делать, а мысль о том, что придется брать в руки змею, его тревожила. Она ведь может меня убить, думал он.

Поев, они выпили чаю и выкурили несколько трубок кифа, старик растянулся на полу и сказал, что будет спать. Аллал вскочил на ноги. Вот сюда! – сказал он старику и подвел его к своей циновке в нише. Старик лег и быстро уснул.

За следующие полчаса Аллал несколько раз подходил к нише и заглядывал в глубину, однако ни те-

ло в бурнусе, ни голова в тюрбане так и не шелохнулись.

Сначала он вытащил одеяло и, связав три угла вместе, расстелил на полу четвертым углом к корзине. Затем поставил на одеяло миску с молоком и кифом. Когда Аллал ослабил шнурок на крышке корзины, старик кашлянул. Аллал замер, ожидая услышать надтреснутый голос. Поднялся легкий ветерок, пальмовые листья заскрежетали друг о друга, но из ниши не донеслось ни звука. Аллал переполз в дальний угол комнаты и присел у стены, не сводя глаз с корзинки.

Несколько раз ему казалось, будто крышка шевелится, но он решил, что ошибается. И вот он затаил дыхание. Тень у основания корзины двигалась. Одна из тварей выползла с дальнего края. Помедлила немного, прежде чем двинуться на свет, но когда все же двинулась, Аллал выдохнул молитву благодарности. Золотисто-красная.

Решившись наконец приблизиться к миске, змея сначала проползла вокруг, осматривая ее со всех сторон, и лишь потом опустила голову к молоку. Аллал наблюдал, опасаясь, что незнакомый вкус пасты из кифа ее отпугнет. Змея не шевелилась.

Он подождал еще полчаса или дольше. Змея не двигалась с места, голова – в миске. Время от времени Аллал поглядывал на корзинку, не выползла ли вторая. Ветерок не утихал, ветви пальм терлись друг о друга. Решив, что пора, Аллал медленно поднялся и, не сводя глаз с корзины, где, очевидно, по-прежнему спала вторая змея, протянул руку и собрал в кулак три связанных конца одеяла. Затем подобрал четвертый так, чтобы и змея, и миска соскользнули на дно мешка. Змея шевельнулась, но он решил, что она не сердится. Он точно знал, где ее спрячет: между камней в пересохшем речном русле.

Держа одеяло перед собой, он открыл дверь и вышел под звезды. Идти было недалеко – по дороге, к рощице высоких пальм, потом налево и вниз, в *уэд*. Между валунов было место, где узел никто не увидит. Аллал осторожно втолкнул его в щель и поспешил к дому. Старик спал.

Убедиться, что вторая змея по-прежнему в корзинке, было невозможно, поэтому Аллал забрал бурнус и вышел наружу. Он закрыл дверь и лег спать прямо на земле.

Солнце еще не взошло, а старик уже проснулся – лежал в нише и кашлял. Аллал вскочил на ноги, вошел в дом и начал разводить в миджме огонь. Через минуту он услышал вскрик: Они снова выползли! Из корзины! Стой, где стоишь, я их найду.

Совсем немного погодя старик удовлетворенно крякнул. Черную нашел! – воскликнул он. Аллал, сидя на корточках в углу, не поднял головы, и старик подошел к нему, размахивая коброй: Теперь нужно найти вторую.

Он убрал змею на место и стал искать дальше. Когда огонь разгорелся, Аллал повернулся и спросил: Хочешь, я помогу тебе ее искать?

Нет, нет! Сиди на месте.

Аллал вскипятил воду и сделал чай, а старик по-прежнему ползал на коленях по комнате, приподнимая ящики и отодвигая мешки. Тюрбан съехал у него с головы, а все лицо сочилось потом.

Иди выпей чаю, позвал Аллал.

Старик сначала его вроде бы не услышал. Затем поднялся, зашел в нишу, где заново перемотал тюрбан. Выйдя оттуда, сел рядом с Аллалом, и они позавтракали.

Змеи очень умные, сказал старик. Могут забираться в такие места, которые не существуют. Я в этом доме обыскал уже все.

Закончив есть, они вышли наружу и принялись искать змею меж тесно растущих пальм возле дома. Когда старик убедился, что змея пропала, он печально вернулся внутрь.

Это была хорошая змея, вымолвил он наконец. А теперь я пойду в Тарудан.

Они попрощались, старик подхватил мешок и корзину и зашагал по дороге к шоссе.

Весь день за работой Аллал думал о змее, но лишь на закате смог спуститься к валунам в *уэд* и вытащить одеяло. Возбужденный, он принес его домой.

Прежде чем развязать одеяло, Аллал наполнил широкую тарелку молоком и пастой кифа и поставил ее на пол. Съел три ложки пасты сам и сел дожидаться, барабаня пальцами по низкому чайному столику. Все произошло так, как он и надеялся. Змея медленно выползла из одеяла, вскоре нашла тарелку и принялась пить молоко. Пока она пила, Аллал барабанил; закончив, она подняла голову и посмотрела на него; барабанить он перестал, и она вновь скрылась в одеяле.

Вечером он снова поставил ей молоко и опять забарабанил по столу. Через некоторое время показалась змеиная голова, потом тело, и все повторилось.

И в ту ночь, и каждую ночь после той ночи Аллал сидел со змеей, терпеливо пытаясь стать ей другом. Он ни разу не пробовал коснуться ее, но вскоре мог ее вызывать и удерживать перед собой столько, сколько хотел,– просто барабанил по столику, потом отпускал. Первую неделю он давал ей пасту из кифа; затем попробовал обходиться без нее. В конце результат был точно таким же. После этого он кормил ее лишь молоком и яйцами.

Как-то вечером, когда его друг, изящно свернувшись, лежал перед ним, он задумался о старике, и у него возникла мысль, вытеснившая из ума все остальное. Пасты в доме уже не было несколько недель, и он решил ее приготовить. На следующий день купил все необходимое и после работы сделал пасту. Когда она была готова, Аллал взял побольше, смешал с молоком в миске и поставил змее. Затем сам съел четыре ложки и запил чаем.

Он быстро разделся и, отодвинув столик так, чтобы до него можно было дотянуться, лег на циновку у двери. На этот раз он не перестал барабанить пальцами, даже когда змея напилась молока. Она лежала спокойно, наблюдая за ним, точно сомневалась, действительно ли знакомый стук исходит из смуглого тела перед ней.

Видя, что время идет, а змея не двигается и рассматривает его каменными желтыми глазами, Аллал начал повторять: Иди сюда,– снова и снова. Он знал, что голоса его она не слышит, но верил, что змея чувствует, как его разум подталкивает ее. Можно заставить их делать все, чего пожелаешь, не произнося ни слова, говорил ему старик.

Хотя змея не шелохнулась, он повторял команду, поскольку теперь знал – она придет. И после долгого ожидания змея вдруг опустила голову и двинулась к нему. Доползла до его бедра и скользнула вверх по ноге. Пробравшись по животу, полежала у него на груди. Тело ее было тяжелым и чуть теплым, чешуя – изумительно гладкой. Потом змея успокоилась, свернувшись в ямке его ключицы.

К этому времени паста из кифа совсем овладела разумом Аллала. Он лежал, восторженно ощущая змеиную голову рядом со своей, без единой мысли, если не считать той, что он и змея сейчас едины. Узоры, что вспыхивали и таяли перед его закрытыми глазами, казалось, были рисунком на змеиной спине. То и дело, всеохватным неистовым движением они скручивались в вихре и дробились на осколки, быстро превращаясь в один огромный желтый глаз, расколотый в середине узким вертикальным зрачком,

который пульсировал биением Аллалова сердца. Затем глаз отступал в изменчивые тени, сменявшиеся солнечным светом, пока не оставались только узоры чешуи, и те роились с новым упорством, сливаясь и разлучаясь. В конце глаз возвращался, уже настолько громадный, что краев у него не было, а зрачок расширялся так, что в его отверстие, казалось, можно войти самому Аллалу. Всматриваясь во тьму внутри, он понимал, что его медленно туда затягивает. Он распрямил руки и коснулся гладкой поверхности глаза по обе стороны – и сразу ощутил рывок изнутри. Скользнул в щель, и его поглотила тьма.

Придя в себя, Аллал почувствовал, что вернулся издалека. Он открыл глаза и увидел очень близко что-то похожее на бок огромного зверя, покрытый грубой жесткой щетиной. Воздух гудел какой-то дрожью – как если бы раскаты дальнего грома закручивали края неба. Он вздохнул – или вообразил, что вздыхает, поскольку дыхание его стало бесшумным. Немного приподнял голову, чтобы разглядеть что-нибудь кроме волос перед собой. Потом заметил ухо и понял, что смотрит на собственную голову снаружи. Этого он не ожидал; он надеялся только, что друг войдет в него и поделится своим разумом. Но это вовсе не показалось ему странным; он просто сказал себе, что теперь видит глазами змеи, а не своими.

Теперь он понял, почему змея так его опасалась: отсюда мальчик казался чудовищем – столько щетины на голове и дыхание, что ревет внутри, как далекий ураган.

Он выпрямился и по полу скользнул в нишу. Там в глиняной стене была щель, широкая ровно настолько, чтобы выпустить его наружу. Протиснувшись в нее, он вытянулся во весь рост на земле в хрустальном лунном свете, рассматривая странный пейзаж, где тени вовсе не были тенями.

Он обогнул угол дома и пополз по дороге к городу, радуясь свободе, не похожей на то, что он воображал прежде. Тела своего он не чувствовал, ибо его идеально облекала кожа. Прекрасно было ласкать землю животом, перемещаясь по тихой дороге, чуя резкие струйки полынного запаха в ветерке. Когда над землей поплыл голос муэдзина с мечети, он его не услышал – да и не знал, что через час ночь закончится.

Завидев впереди человека, он сполз с дороги и спрятался за камень, пока опасность не миновала. Но чем ближе город, тем больше людей попадалось ему, поэтому он опустился в *сегуйю,* глубокую канаву, выкопанную рядом с дорогой. Комья и пучки сухих трав преграждали ему путь. Но все равно, когда забрезжил рассвет, он пробирался по дну *сегуйи,* через силу огибая камни и проскальзывая в плотные сплетения стеблей, оставленные водой.

От дневного света ему стало тревожно и неуютно. Он взобрался на склон *сегуйи* и поднял голову, осматривая дорогу. Человек, проходивший мимо, замер, повернулся и побежал обратно. Аллал не стал медлить – теперь ему хотелось как можно скорее попасть домой.

Вдруг он почувствовал глухой стук – где-то позади о землю ударился камень. Он быстро метнулся через край *сегуйи* и, извиваясь, скатился вниз. Это место он знал: дорога здесь пересекала *уэд,* и недалеко друг от друга пролегали две дренажные трубы. Немного впереди стоял человек с лопатой и всматривался в *сегуйю.* Аллал не останавливался, зная, что доползет до первой трубы прежде, чем человек его заметит.

Пол тоннеля, пролегавшего под дорогой, был испещрен жесткими маленькими волнами песка. В воздухе, дувшем сквозь трубу, чувствовался запах гор. Тут можно было спрятаться, но он полз дальше и

вскоре достиг дальнего конца. Потом перетек во вторую трубу и прополз под дорогой обратно, снова вынырнув в *сегуйе*. За ним несколько человек собрались у входа в первую трубу. Один стоял на коленях, засунув голову и плечи в отверстие.

Теперь Аллал направился по прямой к дому, через пустошь, то и дело поглядывая на пальмовую рощицу. Солнце только взошло, и камни начали отбрасывать длинные синеватые тени. Вдруг из-за ближайших пальм выскочил маленький мальчик, увидел его и широко раскрыл от страха глаза и рот. Он был так близко, что Аллал кинулся прямо на него и укусил в ногу. Мальчик изо всех сил помчался к мужчинам в *сегуйе*.

Аллал поспешил к дому, оглянувшись лишь раз, когда достиг щели в саманных кирпичах. Несколько человек бежали к нему между деревьев. Быстро он скользнул в нишу. Смуглое тело по-прежнему лежало у двери. Но времени уже не оставалось, а время было Аллалу необходимо для того, чтобы вернуться к телу, лечь у головы и сказать: Иди сюда.

Пока он смотрел из ниши в комнату, на тело, в дверь заколотили. С первым ударом мальчик вскочил на ноги, точно ослабили пружину, и Аллал с отчаяньем увидел совершенный ужас у него на лице, глаза, в которых не было разума. Мальчик стоял, ловя ртом воздух, стиснув кулаки. Дверь распахнулась, и несколько человек заглянули внутрь. Взревев, мальчик нагнул голову и ринулся в проем. Кто-то попытался схватить его, но потерял равновесие и упал. Миг спустя все повернулись и бросились через пальмовую рощу вслед за обнаженной фигуркой.

Даже когда время от времени его теряли из виду, до людей доносились его крики, а потом он показывался между стволов снова – он по-прежнему бежал. Наконец, споткнулся и упал лицом вниз. Тогда-то его и схватили, связали, прикрыли его наготу и

унесли, а несколько дней спустя отправили в Беррешид, в больницу.

В тот день те же люди пришли к домику провести обыск, который намеревались сделать раньше. Аллал лежал в нише, дремал. Когда он проснулся, люди уже вошли внутрь. Он повернулся и пополз к щели. Там его поджидал человек с дубинкой в руке.

Ярость в его сердце была всегда; теперь же она вырвалась наружу. Так, словно тело его стало хлыстом, он метнулся в комнату. Самые ближние к нему люди стояли на четвереньках, и Аллал познал радость, вонзая ядовитые клыки в тела двоих, пока третий не отсек ему голову топором.

1976

Вы забыли в автобусе свои лотосовые стручки

Вскоре я научился не приближаться к окнам и не отдергивать двойные шторы, чтобы взглянуть вниз на реку. Обзор был широкий, а вид живописный: заводы и склады на дальнем берегу Чао-Фрайя да вереницы барж, буксируемых вверх-вниз по грязной воде. Новое крыло отеля напоминало вертикальную плиту, номер находился высоко, и ни одно дерево не заслоняло его от ядовитого натиска послеполуденного солнца. К концу дня жара не спадала, а, наоборот, усиливалась: тогда река обращалась в солнечный свет. В красноватых сумерках все там становилось мелодраматичным и запретным, но снаружи через окна по-прежнему проникал духовочный зной.

Брукс, преподававший в университете Чулалонгкорн, как фулбрайтовский стипендиат должен был регулярно посещать занятия по тайскому языку; в дополнение к этому он старался проводить бóльшую часть свободного времени с тайцами. Однажды он привел трех молодых людей в ярких желтовато-оранжевых одеяниях буддийских монахов. Они молча вошли гуськом в гостиничный номер и выстроились в ряд: знакомясь, каждый соединял ладони и касался груди большими пальцами.

Когда мы разговорились, старший – Ямьёнг, которому было под тридцать, пояснил, что сам он уже посвящен в монахи, а двое других – лишь послушники. Тогда Брукс спросил Прасерта и Вичая, скоро ли их посвятят, но вместо них ответил монах.

– Не думаю, что они могут на это рассчитывать, – спокойно сказал он и уставился в пол, словно это была болезненная тема, уже набившая всем оскомину. Взглянув на меня, он продолжал: – У вас прекрасный номер. Мы не привыкли к подобной роскоши. – Голос у него был глухой, и монах пытался скрыть осуждение. Все трое кратко посовещались вполголоса. – Мои друзья говорят, что никогда не видели столь роскошного номера, – сообщил он, пристально наблюдая за моей реакцией сквозь очки в стальной оправе. Я сделал вид, что не расслышал.

Они поставили свои коричневые бумажные зонтики и сумочки, раздувшиеся от книг и фруктов, а затем разместились на кушетке среди подушек. Некоторое время они деловито поправляли складки своих одеяний на плечах и ногах.

– Они сами шьют себе одежду, – заметил Брукс. – Как и все монахи.

Я заговорил о Цейлоне: тамошние монахи покупают уже раскроенные одежды, полностью готовые к пошиву. Ямьёнг признательно улыбнулся и сказал:

– У нас здесь такой же порядок.

В одной стороне комнаты гудел кондиционер, а с другой через окна доносился рев моторных лодок. Я взглянул на троих гостей, сидевших передо мной. Они были очень спокойны и выдержанны, но, похоже, не отличались крепким здоровьем. Я заметил выступающие под кожей скулы. Возможно, болезненная бледность отчасти объяснялась тем, что брови и волосы выбриты?

Ямьёнг сказал:

– Мы рады возможности говорить по-английски и поэтому любим заводить иностранных друзей – англичан или американцев, не важно. Мы все понимаем.

Прасерт и Вичай кивнули.

Время шло, а мы все сидели, расширяя, но не меняя тему разговора. Изредка я оглядывал комнату.

До того как они вошли, это был обычный гостиничный номер, где необходимо задергивать шторы. Присутствие же монахов и их замечания придали ему какую-то смутную тревожность: очевидно, по их мнению, я совершил большую ошибку, остановившись здесь.

– Посмотрите на его татуировку, – сказал Брукс. – Покажите ему.

Ямьёнг чуть оттянул одежду с плеча, и я увидел два сине-фиолетовых ряда мелких тайских букв.

– Это полезно для здоровья, – сказал он, взглянув на меня. Его улыбка показалась странной, но выражение лица вовсе не подкрепляло его слов.

– Разве буддисты не осуждают татуировки? – спросил я.

– Некоторые называют это пережитком. – Он вновь улыбнулся. – Слова, укрепляющие здоровье, считаются суеверием. Татуировку сделал мой настоятель, когда я был еще мальчиком и учился в *вате*. Возможно, он не знал, что это суеверие.

Мы собрались сходить с ними в *ват,* где они жили. Я достал из чулана галстук и, встав перед зеркалом, принялся его завязывать.

– Сэр, – начал Ямьёнг, – не могли бы вы кое-что объяснить? В чем смысл галстука?

– Смысл галстука? – Я повернулся к нему. – Вы хотите сказать, зачем мужчины носят галстуки?

– Нет, это я знаю: чтобы выглядеть, как джентльмены.

Я рассмеялся. Ямьёнг не отступал:

– Я заметил, что некоторые носят их с одинаковыми концами, а у других – широкий конец длиннее узкого или узкий длиннее широкого. Да и сами галстуки неодинаковой длины, разве не так? У некоторых оба конца даже спускаются ниже талии. Наверное, это имеет разное значение?

– Нет, не имеет, – ответил я. – Абсолютно никакого.

Он повернулся к Бруксу за подтверждением, но тот упражнялся в тайском с Прасертом и Вичаем, поэтому Ямьёнг промолчал и на минуту задумался.

– Разумеется, я вам верю, – любезно сказал он. – Но мы все думали, что каждый способ обладает разным смыслом.

Когда мы выходили из отеля, швейцар почтительно поклонился. До сих пор он не подавал вида, что догадывается о моем существовании. Люди в желтых одеждах пользуются в Таиланде авторитетом.

Пару недель спустя я договорился с Бруксом и нашими друзьями отправиться в воскресенье в Аюдхайю. Сама мысль о воскресных прогулках настолько мне противна, что пришлось буквально заставить себя. Аюдхайя находится всего в пятидесяти милях от Бангкока вверх по течению Чао-Фрайя. Для историков и коллекционеров это не просто провинциальный городок, а целый период и стиль – ведь здесь более четырех столетий размещалась тайская столица. Вероятно, она оставалась бы тут и поныне, не разори ее в восемнадцатом веке бирманцы.

Брукс зашел за мной рано утром. Трое *бхикку* с книжными сумками и зонтиками ожидали на улице. Они поймали такси, и, даже не договорившись о цене (рядовой гражданин старается выяснить сумму заранее), мы сели и ехали двадцать-тридцать минут, пока не добрались до автовокзала на северной окраине города.

То был приятный, старомодный открытый автобус. Он гремел каждой своей деталью, нас обдувал ветер с рисовых полей, и мы пытались поддержать натянутый разговор. Брукс в воодушевлении кричал мне:

– Смотри! Водные буйволы!

Чем дальше мы отъезжали от Бангкока, тем больше становилось животных, а возгласы учащались. Сидевший рядом со мной Ямьёнг прошептал:

– Профессору Бруксу нравятся буйволы?

Я рассмеялся и ответил, что вряд ли.

– Тогда почему же…

Я сказал, что в американских полях нет буйволов и поэтому Бруксу интересно их здесь наблюдать. Храмов на просторе там тоже нет, продолжил я и добавил, вероятно, глупость:

– Он осматривает буйволов, а я – храмы.

Это развеселило Ямьёнга, и он потом весь день об этом вспоминал.

Дорога тянулась вперед – прямая, как линия в геометрии, – по ровной зеленой земле. С восточной стороны параллельно ей пролегал довольно широкий канал, заросший кое-где огромными розовыми лотосами. Местами цветы опали и остались лишь стручки с толстыми зелеными дисками – в их мякоть были как бы вкраплены округлые семена. На первой же остановке *бхикку* вышли. Они снова сели в автобус с мангустанами и лотосовыми стручками в руках и насильно раздали нам те и другие. Огромные семена торчали из волокнистых лотосовых блинов, словно из панчборда; на вкус они напоминали зеленый миндаль.

– Наверное, вам в диковинку? – с довольным видом спросил Ямьёнг.

Аюдхайя оказалась жаркой, пыльной и вытянутой; ее окрестности были усеяны развалинами, почти не заметными из-за растительности. На некотором расстоянии от города начинался широкий бульвар со скудно расставленными внушительными зданиями. Обрывался он так же резко, как и начинался. Разрушенные храмы из небольших красновато-коричневых кирпичей вырастали прямо из высоких кустов и казались, скорее, незавершенными, нежели поврежденными временем. Фасады отреставрировали раствором, отчего они покрылись жилками.

Последняя автобусная остановка находилась в двух-трех милях от центра Аюдхайи. Мы слезли на пыльную дорогу, и Брукс заявил:

– Первым делом нужно перекусить. Понимаешь, после полудня им нельзя есть ничего сытного.

– Не сразу после полудня, – сказал Ямьёнг. – Можно после часа или чуть позже.

– Даже так времени в обрез, – сказал я. – Уже четверть двенадцатого.

Но *бхикку* не проголодались. Никто из них не был раньше в Аюдхайе, и поэтому они составили список достопримечательностей, которые хотели в первую очередь осмотреть. Поговорив с человеком, припарковавшим поблизости свой универсал, мы отправились к развалинам *ступы,* расположенной в нескольких милях к юго-западу. Она была построена на вершине высокого холма, куда мы взобрались не без труда, чтобы Брукс сфотографировал нас в разломе обветшалой внешней стены. Там воняло летучими мышами, обитающими в руинах.

Когда мы вернулись к автобусной остановке, тема еды всплыла вновь, но после экскурсии *бхикку* пришли в такое возбуждение, что не хотели тратить время ни на что другое, кроме достопримечательностей. Мы отправились в музей. Там было тихо: кхмерские головы и документы с надписями на пали. День становился тягостным. Я сказал себе, что знал об этом наперед.

Потом мы вошли в храм. Меня поразила не столько гигантская статуя Будды, заполнявшая почти весь интерьер, сколько то, что недалеко от входа на полу сидел человек, игравший на *ранаде* (произносится «ланат»). Хотя звучание было мне знакомо по записям сиамской музыки, я никогда раньше не видел самого инструмента. Ряд из деревянных палочек разной длины, связанных вместе, нависал, словно гамак, над резонатором в виде лодки. Ноты гнались одна за другой, подобно очень быстро падающим каплям

воды. После мучительной жары снаружи весь храм вдруг показался символом прохлады: каменный пол под моими босыми ногами; ветерок, овевавший сумрачный интерьер; в продолговатом ящике – бамбуковые палочки для гадания, которыми гремели молившиеся у алтаря; и цепь невесомых, хрупких звуков, слетавших с *ранада*. Мне подумалось: если бы можно было хоть чем-то перекусить, меня бы не так донимала жара.

Мы выбрались в центр Аюдхайи немногим позже трех. Там было жарко и шумно; *бхикку* понятия не имели, где искать ресторан, а спрашивать им не хотелось. Мы впятером бесцельно бродили. Я пришел к заключению, что ни Прасерт, ни Вичай не понимают разговорного английского, и серьезно обратился к Ямьёнгу:

– *Нам нужно поесть.*

Он сурово уставился на меня.

– Мы ищем, – ответил он.

В конце концов, мы отыскали китайский ресторан на углу главной улицы. За одним столом сидела шумливая компания тайцев, пивших *меконг* (который относят к виски, хотя вкус у него, как у дешевого рома), а другой занимала китайская семья. Они основательно подкреплялись, зарыв головы в миски с рисом. Это меня обрадовало: я ослаб и боялся услышать, что горячего здесь не подают.

Большое меню на английском, которое нам принесли, наверное, было отпечатано несколько десятилетий назад и с тех пор его раз в неделю протирали влажной тряпкой. Мое внимание привлекли несколько пунктов под заголовком «ФИРМЕННЫЕ БЛЮДА», но, пробежав весь список, я рассмеялся, а потом зачитал Бруксу вслух:

Жаренные акульи плавники с побегом боба
Куриные подбородки, фаршированные креветкой
Жареный рисовый трупиал
Креветочные шарики с зеленым кабачком
Свиные легкие с соленьями
Рубленый рисовый трупиал в портвейне
Рыбная голова с соевым творогом

Хотя наши друзья обычно не смеялись вместе с нами, я почувствовал, что сейчас они не просто не желают откликаться, а нарочно хмуро молчат.

Минуту спустя принесли три бутылки «пепси-колы» и поставили стол.

– Что вы будете? – спросил Брукс Ямьёнга.

– Спасибо, ничего, – безразлично ответил тот. – Нам уже на сегодня хватит.

– Это какой-то ужас! Вы хотите сказать, что никто не будет ничего есть?

– Вы и ваш друг съедите свою пищу, – сказал Ямьёнг. (Он чуть не сказал «корм».) Потом он, Прасерт и Вичай встали, взяв с собой бутылки «пепси», и сели за столик в другом конце зала. Время от времени Ямьёнг строго нам улыбался.

– Сколько можно на нас пялиться, – вполголоса произнес Брукс.

– Именно они откладывали этот момент, – напомнил я, хотя и чувствовал себя виноватым: мне было досадно, что я неожиданно оказался в положении безбожника, потворствующего своим желаниям. Это было почти то же самое, что есть перед мусульманами в рамадан.

Мы доели и сразу двинулись в путь, повинуясь Ямьёнгу, который желал осмотреть некий храм. Мы ехали в такси через заросли колючего кустарника. Кое-где в тени раскидистых приплюснутых деревьев попадались большие округлые ямы, заполненные темной водой, и в ней стояли буйволы – виднелись лишь мокрые морды и рога. Брукс снова закричал:

– Буйволы! Целые сотни!

Он попросил таксиста остановиться, чтобы сфотографировать животных.

– Буйволы будут и в храме, – сказал Ямьёнг. Он оказался прав: всего в паре сотен ярдов от здания находилась грязная яма, заполненная ими. Брукс отправился делать снимки, пока *бхикку* по заведенному порядку посещали святилище. Я забрел во внутренний двор, где высился длинный ряд каменных будд. Согласно обычаю, паломники наклеивают на религиозные статуи в *ватах* квадратики золотой фольги. Когда на одном месте накладываются тысячи слоев, крохотные кусочки отклеиваются и дрожат под ветерком, а вся скульптура поблескивает и живет своей маленькой трепетной жизнью. Я стоял во дворе, наблюдая за этой мелкой дрожью вдоль рук и туловищ будд, и вспоминал движение листьев дерева бо. Когда в такси я сказал об этом Ямьёнгу, он, по-моему, не понял и возразил:

– Дерево бо – очень важное дерево для буддистов.

На обратном пути в Бангкок Брукс сидел в автобусе рядом со мной. Мы лишь изредка перебрасывались фразами. После стольких часов борьбы с жарой приятно было сидеть и чувствовать, как с рисовых полей дует относительно прохладный воздух. Водитель автобуса не верил в причинно-следственную связь. Он обгонял грузовики, когда по встречной на нас мчался другой транспорт. Мне было спокойнее с закрытыми глазами, и, возможно, я даже задремал бы, если бы в конце салона не было одного мужчины, явно неуправляемого, который шумел изо всех сил. Он начал кричать, орать и вопить почти сразу, как только мы выехали из Аюдхайи, и продолжал всю дорогу. Мы с Бруксом посмеивались, гадая, сумасшедший он или просто пьяный. В проходе столпилось слишком много народу, и с моего места его не было видно. Иногда я поглядывал на других пассажиров. Казалось, они совершенно не замечают возни у себя за спиной. По мере приближения к городу крик становился все громче и слышался почти непрерывно.

– Господи, почему его не вышвырнут? – Брукс начинал раздражаться.

– Да они его даже не слышат, – злобно возразил я. Люди, способные терпеть шум, вызывают у меня зависть и гнев. Наконец я перегнулся и сказал Ямьёнгу: – Этот бедняга там сзади – просто невероятно!

– Да, – ответил он через плечо. – Он очень занят.

Я подумал, какие они все же цивилизованные и терпимые люди, и поразился, что бедлам, творившийся в конце салона, был обозначен вежливым словом «занят».

Наконец мы пересели в такси и поехали по Бангкоку. Меня должны были высадить возле отеля, а Брукс собирался отвезти *бхикку* в их *ват*. В голове у меня по-прежнему звучали душераздирающие крики. Что же означали эти повторяющиеся словесные формулы?

Мне не удалось дать подходящий ответ Ямьёнгу, озадаченному смыслом галстука, но, возможно, он удовлетворит мое любопытство.

– Вы знаете того человека в конце автобуса?

Ямьёнг кивнул:

– Он так трудился, бедолага. Воскресенье – тяжелый день.

Я пропустил эту ахинею мимо ушей:

– А что он говорил?

– Он говорил: «Переключи на вторую», «Подъезжаем к мосту», «Осторожно, люди на дороге». Все, что видел.

Поскольку ни я, ни Брукс явно не поняли, он продолжал:

– В каждом автобусе должен быть помощник водителя. Он следит за дорогой и говорит, как ехать. Это тяжелый труд, ведь нужно кричать громко, чтобы водитель услышал.

– Но почему он не сидит впереди?

– Нет-нет, нужен один спереди, а один сзади. Они вдвоем отвечают за автобус.

Это было неубедительное объяснение для изматывающих воплей, но, желая показать ему, что поверил, я сказал:

– А! Понятно.

Такси остановилось перед отелем, и я вышел. Когда я прощался с Ямьёнгом, он сказал, как мне кажется, с легкой обидой:

– До свидания. Вы забыли в автобусе свои лотосовые стручки.

1977

Увольнение

Не по своей вине он потерял место, объяснял Абделькрим друзьям. Больше полутора лет он работал у Патриции, и они всегда ладили. Это не значит, что она его не ругала, но назареи вечно критикуют работу, которую делают для них мусульмане, и он к этому привык. В такие минуты она смотрела на него, точно он маленький мальчик, и все ж упреки ее звучали вежливей, чем обычно бывает у назареев. Обязанности Абделькрима были довольно просты, но требовали постоянного присутствия. Если ему не давали специального разрешения сходить в кино или час-другой посидеть в кафе, он обязан был находиться под рукой. Патриция ездила только на такси, машины у нее не было, так что Абделькрим уютно жил в гараже, сам себе готовил и слушал свой приемник.

Патриция несколько лет назад приехала из Калифорнии и купила тут дом. Она была не всамделишной девушкой, потому что сказала ему, что выходила замуж за трех разных мужчин, но выглядела при этом очень молодо и вела себя, как он говорил, точно нервная девственница, которая волнуется, что не найдет себе мужа. Клянусь, говорил он, ни за что не поверишь, что у нее бывали мужчины.

Она носила странные платья и связки бренчащих украшений (все серебряное и медное, говорил он, никакого золота). Даже длинные серьги все время позвякивали. Абделькрим считал, что она девушка

милая, но еще безумнее большинства назареев. Даже когда не было холодно, она требовала, чтобы в камине ревел огонь. Полно ламп, но она хотела жечь свечи; говорила, что электрический свет мертвый. Дом был набит шкурами зебр и леопардов, и еще была коллекция жутких деревянных голов, – Патриция утверждала, что это африканские боги. Абделькрим не сомневался, что это изображения бесов. Он всякий раз отводил взгляд, проходя мимо.

За полгода до его увольнения в доме поселилась мать Патриции – маленькая нервная женщина с черными глазами навыкате. Она постоянно ссорилась с Патрицией, визжала на нее, а порой плакала, и Абделькрим решил, что это мать свела Патрицию с ума.

Работа Абделькрима состояла из трех видов услуг. По утрам он должен был прошагать две мили до городского рынка, купить продукты на день и отнести домой. Днем он работал в саду, а ночью сторожил дом. Патриция изложила свои условия с самого начала, и Абделькрим их принял. С тех пор он и на час не уходил без разрешения.

Сад был не из тех, где приятно провести жаркий день. Поскольку дом построили недавно, не было ни куста, ни большого дерева, которые давали бы тень. Абделькрим был не против работать в саду, но ему частенько хотелось сделать перерыв, выкурить трубочку кифа, а для того чтобы при этом отдохнуть и получить удовольствие, следовало сидеть в густой тени. Пятнадцать лет назад по соседству еще оставались тенистые места, где он мальчишкой играл с друзьями. Он хорошо помнил сосновый лес в Муджахеддине, эвкалиптовую рощу на склоне холма в Айн-Чкафе и длинные тенистые тоннели, которые ребята проделали в зарослях плюща и ежевичных кустах за его домом. Ничего этого уже не было; все вокруг заполонили новые виллы.

Осталось только одно место, где можно найти такую тень, как в детстве. В получасе ходьбы от дома Патриции, если обогнуть длинную кладбищенскую стену, пройти через поля и спуститься в долину Бубана, возле загородного клуба таился зеленый оазис. За зданием клуба был кусочек настоящего леса с медленным, беззвучно струящимся ручьем. Поле для гольфа обычно пустовало; Абделькрим перебегал его, не опасаясь, что его заметят, а затем вдоль ручья шел в лес. Вступая под сень высоких деревьев, он словно входил в большое безмолвное здание. Треск цикад оставался снаружи на солнце. Внутри слышен был только шелест листвы на верхних ветках, далекое журчание, казавшееся идеальной музыкой жаркого летнего дня.

Как-то раз в пятницу Абделькрим попросил выходной на следующий день: предстоял государственный праздник. Не ответив, Патриция ушла в соседнюю комнату посоветоваться с матерью. Вернувшись, сказала, что они собирались на пикник с американскими друзьями, но поездку можно отложить до воскресенья.

Суббота выдалась жаркой и безветренной. В городе устраивали парад, и друзья Абделькрима поехали посмотреть. Абделькрим принес продукты с рынка, оставил их на кухне и пошел в гараж. Там он положил хлеб, тунца и оливки в сумочку, взял и все остальное, чтобы приятно провести день, вышел через ворота и двинулся к Бубане. Возможно, он бы и не отправился в долгий путь по такой жаре (ведь было необычайно жарко), найдись в саду укромный уголок, где можно посидеть, покурить и выпить чая в тенистом уединении. «Солнце – яд», – сказал он себе по дороге.

Добравшись до леса, Абделькрим проголодался. Возле тропинки, что вилась в подлеске, он отыскал большой плоский камень, разложил на нем припасы

и не спеша пообедал. «Вот как надо проводить время,– говорил он себе,– а не стоять на бульваре, где пятьдесят тысяч человек ждут, когда проедут какие-то грузовики». Он выкурил несколько трубок кифа, положил *себси* на камень, зевнул, откинулся назад и потянулся. И в тот же миг услышал шум в кустах на другом берегу речушки. Донеслось ворчание и сопение, а затем удар, словно что-то свалилось на землю. На миг Абделькрим замер, юркнул вниз и растянулся на земле.

Шум приближался. Абделькрим приподнял голову и увидел совсем близко пятерых мужчин: они тащили большой черный куб, спотыкаясь среди деревьев. Он тут же понял, что громоздкий предмет был сейфом. С громким треском они уронили его в кусты. Быстро понадергали растения, собрали охапки листьев и завалили сейф, чтобы не было видно.

Не отрываясь от земли, Абделькрим осторожно пополз назад. Но тут под ним треснула сухая ветка. Звуки позади стихли. Раздался голос:

– Там кто-то есть.

Тут уж Абделькрим вскочил на ноги и бросился наутек. Но сделал ошибку, на миг оглянувшись. Сзади, глядя на него, стояли пять человек. Одного он узнал, и сам оказался узнан.

Тяжело дыша, он пронесся по лесу, через поле и выбежал на дорожку среди колючих кустов. Трое крестьян, растянувшихся под деревом, с удивлением на него глядели. Он замедлил шаг. Оказавшись вне поля их зрения, он снял пропитанную по́том рубашку. Полиция может запросто допросить крестьян.

Теперь Абделькрим был уверен, что погони за ним нет. Он добрался до мощеной дороги, где изредка проезжали машины, и перевел дух.

В тот самый миг, когда Абделькрим обернулся, он увидел зверскую рожу Азиза, официанта из бара загородного клуба. Все боялись и не любили Азиза, но директор держал его, потому что одним ударом кулака по башке тот мог свалить задиристого клиента. Об Азизе поговаривали, и лишь отчасти в шутку, что он молится только, когда кого-нибудь убьет.

Если крестьяне скажут, что видели молодого человека, бегущего по дорожке, полиция разыщет Абделькрима и начнет допрашивать – и Азиз, если его поймают, никогда не поверит, что это не Абделькрим его выдал.

Когда он перешел через мост и стал взбираться по склону, стало еще жарче. Абделькрим был наслышан об Азизе и решил, что самый благоразумный выход – немедленно уехать из Танжера. Его брат Мустафа будет рад его видеть. До Агадира добираться долго, зато там можно жить на всем готовом.

Когда он шел к дому, солнце жарило ему спину. В гараже он бросился на матрас и посетовал на свое невезение. Его киф, его трубка, все, что он взял с собой в лес, осталось на камне.

Надо сесть на ночной автобус до Касабланки – тот, что идет от пляжа в половине двенадцатого. Патриция и ее мать не должны ничего заподозрить; теперь главная задача – выбраться из гаража и выйти на улицу так, чтобы они не услышали, ведь ночью возле дома тихо, только сверчки стрекочут. Если женщины услышат, как лязгают ворота, когда он будет выбираться наружу, они выскочат и, визжа, помчатся за ним в халатах.

Вскоре, прервав его раздумья, в дверь постучала Патриция.

– Мне послышалось, что ты вернулся,– удовлетворенно сказала она.

Испугавшись, что смятение как-то отразится на его лице, Абделькрим заставил себя улыбнуться, но она ничего не заметила, потому что собиралась еще кое-что сказать. Мсье и мадам Лемуэн пригласили их на джилалийскую вечеринку в половине восьмого, и он тоже может зайти на полчасика, если хочет. Это

будет в доме Хаджа Ларби, недалеко, так что он запросто вернется домой до темноты.

Абделькрим с неподдельным удовольствием энергично закивал. Он понял, что все разрешилось само собой.

Теперь он не страшился вечера, а ждал его прихода. Чемодан, который он возьмет с собой, сложен: он спрятал его в темном углу гаража. Точно в половине восьмого мсье Лемуэн подъехал к дому, нажимая на клаксон; мадам Лемуэн чопорно сидела рядом. Патриция, увешанная цепочками и медальонами, подбежала к машине и, заглянув внутрь, заговорила с мадам Лемуэн. Время от времени она поднимала голову и, глядя на дом, кричала:

– Мама!

Абделькрим слышал, как старуха чертыхается в своей спальне, собирая вещи. Наконец, она вышла, на вид раздраженнее обычного. Он сел между ними на заднее сиденье.

Сад Хаджа Ларби с одной стороны был огражден рядом высоких кипарисов, черных в сумрачном небе. Когда гости вошли, один из сыновей Хаджа Ларби, знакомый Абделькрима, подошел к нему и провел в ту часть сада, где расположились музыканты.

– Мы приглашаем *джилала* к моему дяде каждый год во время *смайима,* – объяснил он.

Абделькрим опустился на циновку возле *моккаддема*. Старик в белой джеллабе вышел из дома и встал лицом к музыкантам. Барабаны принялись лениво отстукивать ритм, и старик на брусчатке стал покачиваться взад-вперед.

Когда барабанщики набрали скорость, старик перестал шаркать и топтаться на месте; казалось, ноги подпрыгивают помимо его воли. Он дернул за конец кушака, который придерживал человек у него за спиной. Его глаза были прикованы к огню, он хотел

в него броситься. Музыка звучала все громче, барабанщики начали колотить в землю краями *бенадиров,* и безумие старика нарастало. Его лицо постоянно менялось, искажаясь, точно по нему проносились потоки воды. Он вступал во власть святого, который отведет его далеко от зримого мира – туда, где очистится душа.

В конце концов, он повалился на землю, и мужчины слаженно бросились к нему, чтобы оттащить от огня. Они окружили его, пощупали ему голову, накрыли одеялом, осторожно подняли и отнесли в сторону, с глаз долой.

Над стеной *риада* Абделькрим видел темные обелиски кипарисов. Если бы он сам вызывал дух Сиди Маймуна или Сиди Рахала, наверняка они бы не обратили на него внимания; молодые люди больше не могут рассчитывать на контакт со святыми. Он выскользнул в сад, попрощался с привратником и пошел восвояси.

В гараже он забрал чемодан, запер за собой ворота и отправился к автостанции у пляжа, стараясь не думать о том, что случится утром, когда его исчезновение обнаружат. Почти три часа он ждал, пока автобус откроет двери и впустит пассажиров.

Два месяца спустя он доподлинно узнал, что Азиза и его сообщников поймали в день кражи, в том самом лесу, когда они колотили по сейфу, пытаясь его вскрыть. Он вернулся в Танжер и сразу же пошел к дому Патриции. Но незнакомая служанка сообщила, что хозяйка не желает его видеть.

Служанке было неловко, из дружелюбия она добавила:

– И старая, и молодая – обе сказали, что ни за что тебя не простят. – Это рассмешило ее, и она прыснула.

Абделькрим повернулся и презрительно глянул на сад. Скорее себе, нежели ей, он сказал:

– Хоть бы одно настоящее дерево, и все вышло бы иначе.

Она то ли не расслышала его, то ли не поняла, ибо улыбаться не перестала.

– Нет, не хотят они тебя видеть, – повторила она.

1980

Мадам и Ахмед

Миссис Причард каждый день работала в саду около часа, если только не лил дождь. Сад был создан для восхищения, а не для того, чтобы в нем можно было посидеть. Ее дом стоял на вершине утеса над морем; ветрá с Гибралтарского пролива били по скале и неслись дальше. Если Ахмед думал о мадам, он представлял, как она работает в саду, ее юбка трепещет на ветру, а рука тщетно пытается удержать прическу.

Земля отлого уходила вниз на несколько сотен футов, и террасы сада шли до резкого обрыва. На некоторых уровнях были длинные, выложенные плиткой водоемы с золотыми рыбками, за оградой других таились маленькие фонтаны, и вода струилась в бассейны изо ртов мраморных рыб.

Миссис Причард посадила цветы так, чтобы они великолепно выглядели круглый год, преображая унылый и неухоженный участок, и достигнутым гордилась. И все же в последнее время несколько больших кустов, которые ей прислали из Англии, выглядели неважно, и, поскольку их было видно из дома, ее огорчал их болезненный вид. Если гости пытались выглянуть в окно, она умоляла их не смотреть, печально твердя: «Мне стыдно, как выглядит сад в этом году».

Друзья сочувствовали ей и обычно советовали подыскать нового садовника. Это раздражало миссис Причард, поскольку она не помышляла избавляться от Ахмеда. Он уже одиннадцать лет занимался садом.

Она вспоминала, сколько часов они провели вместе, вскапывая землю, подрезая цветы и обсуждая жизнь растений, и чувствовала, что в самом главном и самом важном они друг друга понимают, хотя Ахмед даже не научился произносить ее имя. Для него она была «мадам».

Однажды она пришла к нему и радостно сказала, что купила в городе множество красивых растений: хозяин привезет их завтра в грузовике и, добавила она, поможет посадить. Заметив, что Ахмед удивился и обиделся, она объяснила, что услуга включена в стоимость растений. Цена, призналась мадам, была чрезвычайно высокой и незачем отказываться, раз этот человек предлагает помочь. Уловить ее логику Ахмед не смог, лишь понял, что она позволила чужаку работать в саду.

– Да, мадам, – произнес он и замолчал.

На следующее утро рядом с мадам на верхней террасе сада появился толстяк в сером деловом костюме. Они разговаривали, а иногда показывали на что-то в саду. Ахмед, сидевший на террасе пониже, разглядывал гостя и узнал в нем главного садовника муниципалитета. Чуть позже, возвращаясь из кладовки для инструментов, он прошел мимо новых растений и догадался, что они прибыли из городского сада. Ахмеда подмывало пойти и сказать мадам, что она купила краденое, но он передумал. За годы работы с ней он уловил, что если один марокканец отзывался плохо о другом, она неизменно вставала на сторону обвиняемого. Еще придет время использовать то, что он знает о растениях.

Второй человек вытаскивал горшки из грузовика и расставлял на верхней террасе. Мадам говорила тучному гостю:

– Эти пойдут вдоль стены, те – в круглую клумбу, а туберозы, наверное, в самый конец этой дорожки отдельно.

– Я знаю лучшее место для каждого растения, мадам, – сказал толстяк. – Вот увидите.

– Подождите! – нервно вскричала она, оглядываясь, словно за помощью. – Я пришлю сюда своего садовника.

Это предложение человек отверг:

– Нет-нет! Мы с помощником сделаем все сами. Каждое растение будет на своем месте. Предоставьте это мне.

Миссис Причард погрустнела. Она повернулась и ушла в дом.

Ворюга принял на себя командование садом, даже не позволил мадам посадить растения там, где ей хотелось. Ахмед стоял на коленях на нижней террасе и наблюдал за мужчинами. Они сажали в спешке, не слишком обращая внимание на то, что делают. Всё посадив, они стали прохаживаться вдоль двух верхних террас, рассматривая цветы. Ахмед старался разобрать слова, но они беседовали слишком тихо. Видя, что они надолго застыли у гигантского гибискуса, который мадам привезла с Гавайских островов, он заподозрил, что толстяк найдет предлог, чтобы снова ее посетить.

Когда грузовик уехал, мадам вышла из дома и позвала Ахмеда. Вместе они осмотрели плоды поспешных трудов. Мадам рассмеялась:

– Это не имеет значения. Потом пересадим. Хорошенько все полей.

Он смотрел на ряд африканских лилий без интереса. Когда она упомянула, во сколько они обошлись, Ахмед вспылил:

– Могли бы купить клубни, – произнес он укоризненно.

– Тогда у меня бы не было цветов до следующего года.

Ахмед угрюмо кивнул.

Тем вечером Джохара, чернокожая кухарка, остановила его, когда он проходил мимо кухонной двери.

– Знаешь, что он говорил мадам, тот человек? Он сказал ей, что ты не настоящий садовник, и она должна выгнать тебя и взять его на твое место.

– Он преступник! – закричал Ахмед.

В своей лачуге за теплицей Ахмед сел и задумался. Он должен спасти свою работу и спасти сад. Он снова вспомнил, как посетители пялились на кусты гибискуса. Начнут тут работать и примутся воровать из сада самые ценные растения.

Стоило Ахмеду убедить себя, что отчасти действует в интересах мадам, он почувствовал, как уходят муки совести из-за того, что он задумал. Сделать это оказалось довольно просто. Ахмед дождался, когда все огни в главном доме погаснут. Затем бросил в мешок острый нож, выскользнул в сад, дошел до края верхней террасы и склонился среди свежепосаженных растений. Он вырывал одно за другим, перерезал корни или клубни быстрым взмахом лезвия и аккуратно снова сажал на прежнее место. Мешок, наполненный корнями и клубнями, он принес к себе в комнату. Развел огонь в *миджме,* тщательно все сжег, вынес пепел и развеял по компостной куче. А потом лег спать.

Утром мадам вышла на улицу и стала разглядывать новые растения.

– Они очень милые, – сказала она Ахмеду. – Надо поливать из лейки до того, как их найдет солнце. Просто побрызгай чуть-чуть у каждого черенка, чтобы напился.

Она какое-то время смотрела, как обиженно молчавший Ахмед выполняет указания. Затем, явно удовлетворенная, ушла в дом. Уже много лет она не стояла вот так над душой, проверяя, сделал ли он что велено, и Ахмед понял, что на нее действовал яд толстяка: ведь, хотя тот открыто пренебрег ее желаниями, она все же не оставила мысли взять его в садовники.

К середине дня некоторые цветы уже не казались такими свежими, как утром. Ахмед заметил это, проходя мимо, но решил не докладывать мадам до вечера, когда солнце довершит свою разрушительную работу.

Мадам первая отметила плачевный вид саженцев. Она позвала Ахмеда, и тот поднялся наверх.

– Что же это такое! – произнесла мадам, качая головой. Она потянула листик одного из растений, и оно упало, – открылся стебель без корней. Мадам схватила следующее и тоже выдернула.

– Ахмед! – закричала она. – Да это черешки, воткнутые в землю. Это не живые цветы!

Он оглядел растения и посмотрел на нее сочувственно. Ветер сбивал ей волосы на лицо, и она была готова разрыдаться.

– А казались такими здоровыми, – сказала она.

Вместе они отправились посмотреть на африканские лилии, на туберозы.

– Грязная свинья! – вскричала мадам. – Вот почему он не хотел, чтобы я стояла рядом, пока он их сажает. – Вдруг она посмотрела на Ахмеда: – Он вернется. Он говорил, что привезет розовые кусты.

– Не посмеет вернуться после того, что наделал, – объявил Ахмед.

Мадам, похоже, совсем растерялась.

– Подумать только… – начала она, осознав, что еще несколько минут назад раздумывала, стоит ли увольнять Ахмеда и нанимать того человека. Она не могла поверить в такое предательство. Ахмед знал, какие слова мадам не произнесла, и мрачно улыбнулся.

– Если он вернется, не впускайте его. Даже не разговаривайте с ним. Позовите меня, я сам разберусь.

– Годится, – сказала она. – Не хочу видеть эту мерзкую рожу.

Ветер дул, мертвые растения выбросили в компостную кучу, и происшествие больше не упоминали. Но Ахмед не сомневался, что человек вернется.

Однажды он действительно вернулся. Джохара пришла в кладовку и сказала, что плохой человек стоит в дверях, а мадам очень нервничает.

Ахмед надел джеллабу и прошел к воротам. Открыл и, строго глядя на толстяка, произнес нараспев, словно повторяя приказ, заученный наизусть:

– Мадам просила передать, что она знает, где вы взяли цветы, и не возвращайтесь сюда, если не хотите объяснять это полиции.

Затем он закрыл дверь и услышал, как грузовик отъехал. Мадам стояла в дверях вестибюля.

– Он уехал, – сказал Ахмед.

– Ахмед, что бы я без тебя делала? – Она пристально посмотрела на него, качая головой. – Что ты ему сказал?

– Сказал, что настоящий мусульманин не будет дурачить женщину, у которой нет мужа.

Миссис Причард поразмыслила:

– Уверена, что ты сказал самую подходящую вещь. Боюсь, я бы его оскорбила, а потом слегла бы с мигренью. Я очень тебе признательна.

Хотя Ахмед все еще беспокоился из-за того, что обманул мадам, и терзался, что пришлось уничтожить столько здоровых, дорогих растений, он почувствовал, как ему становится легче от своих слов:

– В наши дни все друг друга надувают, мадам. Все.

Это было утешительное признание проступка, но мадам решила, что это намек.

– Ох, я больше такого не сделаю, обещаю, – сказала она.

Он посмотрел на нее одобрительно и повернулся к выходу.

– Вы правы, мадам, – сказал он. – Никому не верьте.

1980

Киска

Киска жила в небольшом доме с огромным садом. Одни вещи она любила – например, пикники и ходить в цирк, другие ненавидела – например, школу и ходить к зубному врачу.

Как-то раз она спросила маму:

– Отчего у меня такое имя – Киска?

– Твое настоящее имя – Кэтрин, – ответила мать. – Мы просто зовем тебя Киской.

Этот ответ не устроил Киску, и она решила, что мать не хочет говорить правду. Теперь она еще чаще стала думать о своем имени. Наконец, поняла, что ответ найден. Ее зовут Киска, потому что она вырастет и превратится в кошку. Она гордилась тем, что выяснила это, и стала смотреться в зеркало, чтобы увидеть, не начинает ли она походить на кошку или хотя бы котенка.

Поначалу она не видела ничего, кроме своего розового личика. Но однажды, подойдя к зеркалу, она не поверила своим глазам, потому что вокруг ее губ появились крошечные серые усики. Она даже подпрыгнула от удовольствия и стала ждать, что ее мама что-нибудь об этом скажет. Однако у мамы на такое не было времени, и она ничего не заметила.

Каждый день, когда Киска смотрелась в зеркало, она замечала новые чудесные перемены. Постепенно усы отрасли и вытянулись вперед, а кожу покрыла нежная серая шерстка. Уши заострились, и на ладонях и подошвах появились мягкие подушечки.

Выглядело все это замечательно, и Киска огорчалась, что никто ни слова не сказал о такой потрясающей перемене. Как-то раз за игрой она повернулась к маме и сказала:

– Мяу. Я киска. Нравится тебе цвет моей шерстки?

– Не знаю,– откликнулась мать. – А какого она цвета?

– Серая!

– Ах, серая. Очень мило,– сказала мать, и Киска огорченно поняла, что маму нисколько не волнует, какого цвета шерстка.

После этого она пыталась спрашивать соседей, что они думают о ее нежных усиках, бархатных ушках и пушистом хвостике. Все соглашались, что это очень славно, и больше не обращали внимания. Ну, если они не замечали перемен, сама-то она все видела.

Как-то, проснувшись летним утром, Киска обнаружила, что ногти на руках и ногах превратились в чудесные серебристо-серые коготки, которые можно было выпускать и втягивать. Она выскочила из постели и помчалась в сад. Было еще очень рано. Ее родители спали, но по лужайке гуляли какие-то птички.

Она спряталась за кустами и принялась наблюдать. Прождав довольно долго, стала подкрадываться. Ветки вцепились в ночную рубашку, и Киска ее сорвала. Когда одна птичка подошла совсем близко, Киска прыгнула и схватила ее. И в этот момент поняла, что она больше не девочка и никогда уже ею не будет.

Птичка была вкусная, но Киска решила ее не есть. Вместо этого она развалилась на солнце и стала лизать себе лапки. Потом села и умыла мордочку. После этого решила пробраться в дом миссис Тинсли и посмотреть, можно ли там позавтракать. Она забралась на ограду и быстро пробежала по ней на крышу гаража. Оттуда спустилась по решетке в задний двор миссис Тинсли. Услышав шум из кухни, она подошла к сетчатой двери и заглянула. Потом сказала:

– Мяу. – Пришлось еще несколько раз повторить; наконец, миссис Тинсли вышла и увидела ее.

– Надо же, какой прелестный котенок! – сказала миссис Тинсли и позвала мужа и сестру. Те вышли и увидели серенького котенка, который поднял лапу и царапал сетку. Конечно, они ее впустили, и вскоре Киска лакала молоко из блюдечка. Весь день она проспала, свернувшись на подушке, а вечером ей дали мисочку с чудесной сырой печенкой.

После ужина она решила вернуться домой. Миссис Тинсли увидела ее у кухонной двери, но не выпустила, а поймала и заперла в погребе. Это Киске вовсе не понравилось, и всю ночь она проплакала.

Утром ее пустили наверх и принесли большую миску молока. Выпив, она стала ждать на кухне, пока миссис Тинсли не открыла дверь, чтобы выйти во двор. Тогда она изо всех сил пронеслась между ног миссис Тинсли и забралась на крышу гаража. Она посмотрела вниз, как миссис Тинсли зовет ее: «Киска, Киска, Киска», но повернулась и убежала в другую сторону. Вскоре Киска оказалась в своем саду. Она подходила ко всем дверям и заглядывала. В доме с ее мамой и папой разговаривали полицейские. Они держали в руках разорванную ночную рубашку Киски, а мама кричала и всхлипывала. На Киску никто не обратил ни малейшего внимания.

Она вернулась в дом миссис Тинсли опечаленная и осталась там на много недель. Иногда она пробиралась в родной дом, снова заглядывала во все двери и часто видела мать или отца. Но родители выглядели совсем не так, как прежде, и даже если замечали ее, никогда не подходили к двери, чтобы ее впустить.

Приятно было не ходить в школу, и мистер и миссис Тинсли очень хорошо к ней относились, но Киска никого не могла полюбить больше, чем своих родителей, и хотела быть с ними.

Теперь миссис и мистер Тинсли разрешали ей ходить куда вздумается, потому что она всегда возвращалась. Она ходила в свой дом по ночам, заглядывала в окно и видела, как отец сидит один и читает газету. Так она узнала, что мама ушла. Даже если она плакала и стучала лапками в окно, отец не обращал на нее внимания, и она понимала, что он ее никогда не впустит. Будь здесь мама, она бы подошла, открыла дверь, взяла ее на ручки, погладила бы шерстку на ее лбу и поцеловала ее.

Как-то раз, через несколько месяцев, когда Киска перебралась через стену в собственный сад, она увидела, что во дворе на стуле сидит мать. Выглядела она гораздо лучше – почти как прежде. Киска медленно подошла к маме по траве, задрав хвост трубой. Мама выпрямилась на стуле и смотрела на нее. Затем протянула руку и поманила Киску.

– Ну, милая кошечка, – произнесла она. – Ты откуда такая взялась?

Киска подошла поближе, чтобы мама могла погладить ее по головке и почесать за ушком. Она махала хвостом и мурлыкала от удовольствия, когда мамины пальцы гладили ее шерстку. Затем вспрыгнула маме на колени и свернулась там, радостно выпуская и втягивая когти. Потом мама подняла ее, прижала к лицу и отнесла в дом.

Вечером счастливая Киска лежала у мамы на коленях. Она не пыталась вскочить на колени к отцу, – боялась, что он ее сгонит. Кроме того, понимала, что там будет не очень удобно.

Киска знала, что мама уже любит ее, а отец еще научится ее любить. Наконец-то она жила точно так, как хотела. Иногда она думала: было бы неплохо дать им понять, что она настоящая Киска, – но знала: это невозможно. Она никогда не слышала, чтобы они хоть раз произнесли слово «Киска». Шерсть у нее была длинная и нежная, и казалось, что сама она не ходит, а плывет, так что ее назвали Пушинкой. Теперь ей не нужно было волноваться об уроках, ходить к зубному врачу, и больше не надо было думать, говорит ей мама правду или нет, потому что правду она знала и так. Она была Киской и была счастлива.

1980

Муж

Абдалла жил со своей женой в двухкомнатном доме на склоне холма в нескольких милях от центра города. У них было двое детей. Девочка ходила в школу, мальчик жил в доме англичанина, ухаживал за садом.

Жена давно определила образ их жизни, работая служанкой у назареев. Она была крепкая и жизнерадостная, и назареи ее любили. Они рекомендовали ее друзьям, так что она не оставалась без работы и каждый день могла трудиться в нескольких домах. Поскольку все деньги она отдавала Абдалле, ему работать не было нужды. Порой он подозревал, что назареи платят ей больше, чем она говорит, но разговоров об этом не заводил.

Жена навострилась ловко выносить вещи из домов назареев, так что те ни о чем не догадывались. В былые дни она отдавала свои трофеи Абдалле вместе с деньгами; то, что удавалось выручить на *жотейе,* было хорошей прибавкой. Однако, проработав столько лет на назареев, она пристрастилась к их образу жизни. Она начинала спорить, если Абдалла пытался унести полотенце, простыню или расписное блюдо, потому что хотела, чтобы эти вещи оставались у нее в доме. Когда он унес маленький будильник, который она особенно любила, она перестала разговаривать с мужем и делала вид, что его нет. Он был разгневан и оскорблен и стал спать в другой комнате, а дочку отправлял ночевать с матерью.

Вскоре после начала этой безмолвной войны Абдалла в высшей степени заинтересовался Зохрой, молодой соседкой, которую недавно бросил муж. Поскольку Зохре нужны были деньги, она поощряла ухаживания Абдаллы, и вскоре он уже стал есть и спать в ее доме, не обращая внимания, что его поведение вызывает неблагосклонные замечания в округе.

Зохра очень быстро выяснила: Абдалла не способен ни за что платить. Поскольку он ушел из дома, вряд ли он мог вернуться в конце месяца и попросить денег у жены. Сообразив, как обстоят дела, Зохра думала только о том, как бы от него избавиться и изо всех сил старалась сделать его жизнь невыносимой.

Как-то в первой половине дня он зашел к себе домой, зная, что жена на работе. Была пятница, так что его дочь не пошла в школу. Она была в патио, стирала одежду. Абдалла поздоровался, но дочь даже не посмотрела на него. Мать набила ей голову враньем обо мне, подумал он. Затем он вошел в дом и позвал жену. И тут на глаза ему попался прозрачный пластиковый пакет в стенной нише. Он подошел поближе и увидел, что в пакете что-то блестит. Не заглядывая внутрь, он спрятал пакет под *джеллабой,* снова позвал жену и вернулся в патио.

– Скажи матери, что я заходил, – сказал он девочке. Та не ответила, и он добавил: – Не слушай соседей.

Она смерила его презрительным взглядом и снова склонилась тереть белье.

Он поднялся по склону и сел в рощице, чтобы в уединении изучить содержимое пакета. Там оказались двенадцать больших ложек, все одинаковые. Полюбовавшись немного, он завернул их и направился в город, чтобы показать другу в Эмсалле, разбиравшемуся в таких вещах.

Этот человек заверил его, что суповые ложки из чистого серебра и предложил за них семьдесят тысяч

франков. Абдалла ответил, что ему нужно время на размышление и пообещал вернуться. Из Эмсаллы он сразу пошел на *жотейю* и отдал ложки *диллалу,* который стал ходить с ними кругами по рынку. Ставки, в конце концов, достигли сотни тысяч франков, и серебро было продано.

Эту ночь у Зохры он провел без сна, не раздеваясь и зажав в руке банкноты. Рано утром вышел и купил десять черных коз. Затем снял хижину, возле которой был сарай, где можно держать коз ночью. Он предусмотрительно выбрал отдаленный квартал на другой дороге, полагая, что здесь вряд ли повстречает Зохру или свою жену.

Новая спокойная жизнь пришлась ему по душе. Каждое утро на рассвете он выходил с козами, вел их по окольной дороге к Бубане, а затем по полям к Ререху. Тут он садился в тени разрушенного крестьянского дома и смотрел на коз, бродящих по склонам.

Иногда, сидя так, он засыпал. Это было опасно: если козы заберутся на делянку, возникнут неприятности с крестьянином. Еще важнее был новый закон о том, что теперь водитель, сбивший скотину на дороге, не будет нести ответственности. Хуже того: хозяину придется платить изрядную сумму за каждое погибшее животное. Деревенские не могли вникнуть в смысл указа, казавшегося таким извращенным, но поняли, что разумнее держать скот подальше от дорог.

Часто, когда становилось жарко, Абдалла не вел коз вверх по долине, а садился под сосной на поле возле дороги в Рмилат. Тут уж он был обязан бодрствовать и следить за козами, ведь они запросто могли забрести на дорогу. Как-то раз, в безветренный день, он почувствовал, что его одолевает сон и, хотя сопротивлялся, все же не смог устоять и погрузился в глубокую дремоту.

Он проснулся от визга тормозов, взглянул на дорогу и увидел, что случилось. Двух коз сбил грузовик, и они лежали мертвые на асфальте.

Он подскочил, согнал остальных коз с дороги и поспешил назад, чтобы оттащить мертвых животных в канаву. Если проедут полицейские, они сразу определят, что козы из его стада и заберут его с собой.

Подошел паренек – Абдалла узнал сына человека, жившего по соседству с его хижиной; он толкал пустую тачку. Абдалла окликнул его и показал на трупы в канаве.

– Поможешь мне от них избавиться? Все равно, где ты их спрячешь, только не вези по дороге. Когда вернешься с пустой тачкой, я тебе заплачу.

Абдалла не объяснил мальчишке, отчего хочет убрать трупы, а не оставить в канаве собакам. Если тот поймет важность задачи, он будет недоволен скромной суммой, которую собрался дать ему Абдалла.

Паренек взвалил двух коз на тачку и покатил ее по тропинке, спускавшейся среди кустов к реке. Было воскресенье, и десятки женщин занимались на берегах стиркой; кусты превратились в палатки из сохнущих простынь. Он толкал тачку, пока не добрался до моста над шлюзом. Наверху вода была глубокая и черная, а внизу по дну петляющего русла струилась лишь тонкая речушка. Он решил бросить коз в глубокую воду и засучил рукава.

В этот момент женщина, стоявшая на берегу под мостом, принялась на него кричать. Он стоит на ее земле, кричала она, и пусть тащит свою падаль куда подальше. Довольно долго, ни слова не говоря, он смотрел, как она вопит и размахивает руками. Потом, заметив, что собирается толпа, презрительно плюнул, опрокинул тачку, и животные плюхнулись в воду. Голос женщины перерос в визг: она заявила, что идет в полицию.

– Я знаю тебя! – вопила она. – Знаю, где живет твой отец! Ты будешь ночевать в тюрьме!

Даже не взглянув на нее, мальчик двинулся вперед, толкая тачку. Чтобы добраться до места, где ждал его Абдалла, он вышел на шоссе.

Завидев его, Абдалла пошел навстречу, заглянул в пустую тачку и расплатился, решив, что козы спрятаны где-то среди кустов и ежевики у излучины реки.

И часа не прошло, а женщина уже была в *комиссарии* – размахивала руками и доносила на мальчика. Полицейские внимательно выслушали, уверенные, что им удастся содрать штраф.

Когда они выудили коз из воды и бросили в задней комнате участка, женщина отвела их к дому отца мальчика.

Паренек вознегодовал.

– Я кинул их в лучшее место – в глубокую воду, – протестовал он. – Один человек заплатил мне, чтобы я их выбросил. Спросите его.

На соседнем участке увидели Абдаллу: он уныло сидел с восьмерыми оставшимися козами.

– Пойдем, – сказали ему. – Мы хотим тебе кое-что показать. – И заставили его пройти в *комиссарию,* где предъявили два мокрых трупа и потребовали немедленно заплатить сорок тысяч франков.

Абдалла был потрясен.

– У меня и десяти нет, – сказал он.

– Ну ладно, – сказали ему. – Заберем у тебя четырех коз.

На это Абдалла поднял крик.

– Как две козы могут стоить четырех? – не утихал он.

Они засмеялись и вытолкали его; поднялся такой шум, что люди столпились перед входом, стараясь разглядеть через входную дверь. Зохра, ждавшая автобуса на другой стороне дороги, быстро узнала историю от стоявших поблизости.

«Ага, значит у него козы», – сказала она себе, поднимаясь по склону в автобусе, и вся ее затаенная злоба на Абдаллу вернулась. Никогда за буханку хлеба заплатить не мог, а у самого козы.

И она стала распускать в округе слух о том, что Абдалла, вопреки всеобщему мнению, вовсе не уехал из Танжера, а живет под Васко-да-Гамой со стадом коз. Она была уверена, что это дойдет до жены Абдаллы; так очень скоро и случилось.

Жена Абдаллы даже не пыталась подать на него жалобу за то, что он оставил ее с детьми, поскольку знала, что ничего с этого не получит. Теперь же она решила пойти и подать на алименты. Если у Абдаллы козы, так лишь благодаря ее ложкам; в этом она не сомневалась. Он не имеет права их держать.

На следующий день она не пошла на работу к назареям, а отправилась заявить, что ее бросил муж. После долгого ожидания ее впустили в контору. Заполняя бумагу, чиновник спросил ее, где работает Абдалла.

– Он не работает. У него нет денег.

Человек развел руками:

– Так чего вы от нас хотите? Если у него нет денег, зачем вы сюда пришли?

– У него козы, – ответила она.

Через несколько недель пришло письмо от властей, чтобы она пришла в *комиссарию* в ее квартале. Там ей выделили полицейского, и вдвоем они направились к хижине, где жил Абдалла.

С тех пор, как полиция увела половину его стада, Абдалла даже не выпускал оставшихся четырех коз на пастбище. Он просто сидел на пороге хижины и смотрел, как изголодавшие животные бродят по маленькому загону. Изредка приносил им охапку травы.

Полицейский велел женщине подождать на дороге, а сам пошел забрать коз. Она взглянула за калитку и увидела четырех костлявых, отощавших живот-

ных. Полицейский поговорил с Абдаллой, а потом вышел за калитку, гоня коз перед собой.

Когда он закрыл калитку, она бросила еще один взгляд внутрь и увидела, что Абдалла сидит на пороге хижины, горестно закрыв лицо руками. Если бы он в тот миг поднял взгляд, она бы крикнула, что все в порядке и он может к ней вернуться. Но он не шелохнулся. За калиткой его уже не было видно, и она пошла по дороге с полицейским и козами.

На миг она пожалела, что не заговорила с ним: он казался таким одиноким и несчастным. Но тут же вспомнила про шаль. Три дня назад, после нескольких месяцев подготовки, ей удалось стащить огромную кашемировую шаль, которую она решила оставить себе. Она подумала, что, придержав язык, поступила верно.

«В этом мире невозможно иметь всё сразу», – сказала она себе.

1980

В «Крунгтеп-плазе»

Настал день, когда с визитом к королевской чете должен был прибыть президент Соединенных Штатов с супругой. Накануне целые отряды людей метались по бульвару, таская тяжелые металлические щиты, чтобы выставить заграждения на тротуарах. Манг Уат поднялся с постели весь взмокший: ночью он почти не спал. С тех пор, как ему сообщили, что кортеж проедет перед отелем, он с нарастающим ужасом ждал этого дня. Малейший инцидент поставит под угрозу его карьеру. Достаточно одного психа с гранатой.

С раздражением он раздвинул шторы и взглянул на свет зловещего дня. Потом, приняв душ, вернулся к окну и долго смотрел. В сером небе над городом гудели вертолеты; пока еще ни один не задел верхушку храмовых *чеди,* но прохожие всякий раз поглядывали с интересом, когда громыхающая махина направлялась к ближайшему шпилю. Временами патрульный автомобиль объезжал квартал, весь транспорт останавливали, воцарялась непривычная, тревожная тишина, и до Манга Уата доносился лишь стрекот насекомых в листве. Затем вдали появлялись другие признаки жизни – детские крики, собачий лай, – и они тоже действовали на нервы, эти нагие шумы, пришедшие на смену нескончаемому реву моторов.

Никто не знал, когда проедет королевский кортеж. По радио объявили, что в десять утра, но в холле

внизу появились слухи – вроде бы прямо из штаб-квартиры полиции, – что все начнется в полдень. Манг Уат решил не завтракать и вообще ничего не есть, пока не минует опасность и ему не станет легче.

Он сидел за столом, постукивая ногтем по кончику зуба и задумчиво глядя на мисс Пакун, сидевшую напротив и печатавшую на машинке. Темно-красные шелковые шторы на окнах его кабинета чуть подрагивали от дыхания лопастей вентилятора. От штор комната напоминала какой-то будуар, и движение или поза обретали порой странную двусмысленность. Сегодня эта странность уже не вдохновляла его, а просто усилила недоверие к секретарше. Она выглядела необычайно привлекательно и деловито, но Манг Уат вынужден был признать, что заботит его другое. Он рассчитывал на ее честность, принял на веру сведения, которые она изложила в своем резюме. Он выбрал ее из нескольких столь же респектабельных кандидаток, решив, что она получила доброе буржуазное воспитание.

Подозрения возникли на прошлой неделе, когда кассир по имени Удом сообщил ему, что видел, как мисс Пакун идет по улице в антисанитарном и пользующемся дурной славой квартале Тонбури на другом берегу реки. Удом хорошо знал эти места: это был район трущоб, свалок, опиумных курилен и борделей. Если она жила там, почему же дала сукумвитский адрес? А если нет, какое убедительное оправдание может у нее быть для визитов в столь опасный район? Он даже начал сомневаться в том, что Пакун – ее настоящее имя.

Манг Уат гордился своим трехкомнатным люксом в «Крунгтеп-плазе». В тридцать два года он уже был менеджером отеля, и это его восхищало. Через окошко в стене приемной он мог, если бы захотел, посмотреть в холл и увидеть, что творится почти в каждом его уголке. Но он никогда этого не делал. Достаточно, что подчиненные знают о существовании окошка.

Из соседней комнаты до его стола долетал плеск фонтана. Друг, недавно перебравшийся в Гонконг, оставил ему фонтан, и Манг Уат потратил немало денег на установку. Мисс Пакун закашлялась – возможно, хотела напомнить ему, что он курит. Она всегда кашляла, если он курил. Несколько раз, когда она только начала работать на него, он гасил сигарету. Сегодня его не очень волновало состояние ее горла. Да, подумал он, ему все равно, живет она в элегантном доме в Сукумвите или в трущобном закоулке Тонбури. У него больше не было ни малейшего желания изображать, что относится к ней дружелюбно.

Ближе к полудню к нему постучался Удом – друг с университетских дней, неудачник, вымоливший у него работу в отеле. Манг Уат, полагавший, что у человека вряд ли может быть больше одного достоинства, дал ему место кассира – парень ненадежный, но честный.

С тех самых пор, как деловой партнер его дяди предложил ему эту высокую должность, Манг Уат наслаждался своей защищенностью от внешнего мира. Сегодня в первый раз чудесное спокойствие оказалось под угрозой. Чепуха. Он понимал, что ничего не может случиться, но ситуация, вышедшая из-под его контроля, внушала ему нелепое беспокойство.

Удом подошел к столу и мрачно прошептал, что внизу появились американцы из службы безопасности и требуют мастер-ключ от всех номеров.

– Я сказал им, что должен поговорить с тобой, – продолжал он. – Ты ведь знаешь, что не обязан этого делать. Только ключи к конкретным комнатам, если они попросят.

– Знаю, – сказал Манг Уат. – Дай им мастер-ключ.

– Постояльцы будут недовольны.

Манг Уат вспыхнул:

– Какая разница? Дай им любые ключи, дай всё, что захотят. Только проследи, чтобы вернули.

Его потрясло, что кто-то может сомневаться, следует ли принимать эту дополнительную помощь, но Удом всегда славился своей манерой создавать осложнения и затевать споры. Манг Уат подозревал, что тот еще не до конца изжил юношеские марксистские симпатии, и порой раздумывал, правильно ли поступил, взяв Удома в штат.

От приступов голода он нервничал еще больше. Было двадцать пять минут второго. Мисс Пакун еще не вернулась с обеда. Только тут он понял, что уже некоторое время с улицы доносится необычный гул. Он подошел к окну. Мимо проносились большие официальные машины – поразительно быстро. И тут он заметил два белых дворцовых «бентли» с мотоциклетным эскортом. Он затаил дыхание, пока они не промчались. Еще минуту прислушивался, и лишь потом позвонил и заказал обед.

Ближе к вечеру портье позвонил в его кабинет и сказал, что с ним требует встречи постоялец. Опасность неожиданно возникла вновь.

– Я никого не смогу принять, – сказал он и повесил трубку.

Через пять минут позвонил Удом.

– Вот этого я и боялся, – сказал он. – Англичанин жалуется, что полиция обыскала его номер.

– Скажи ему, что меня нет, – распорядился Манг Уат. И добавил для мисс Пакун: – Никаких звонков не принимать. Вам ясно?

Сумерки опустились мгновенно: огромная черная туча разбухла над городом. Манг Уат решил, что можно и отпустить мисс Пакун, пока не пошел дождь. Он встал у окна и посмотрел на улицу. Город сверкал миллионами новых огней: лампочки причудливо переплетались в ветвях на другой стороне канала. Перед мостом установили триумфальную арку, впечатляюще подсвеченную красным и синим, чтобы видны были тридцатифутовой высоты портрет президента и слова приветствия на английском и тайском.

Звонок в прихожей. Мисс Пакун ответила, посыльный в алой форме принес записку на подносе. «Он болел оспой, – сказал себе Манг Уат. – Кто его такого взял на работу?» Он записал в блокнот, что посыльного следует завтра же уволить, и забрал у него записку. Удом писал: «Человек в баре уговаривает гостей подписать жалобу. Думаю, тебе нужно с ним поговорить».

Манг Уат недоверчиво перечитал записку. Затем стукнул по столу кулаком, и мисс Пакун подняла глаза. Он разозлился и тут же напомнил себе, что важнее всего сохранять хладнокровие. Если имеешь дело со смутьянами, следует быть твердым, нельзя втягиваться в спор, а тем более в ссору.

Зазвенел звонок.

– Скажите ему, что я освобожусь через пять минут, – велел он мисс Пакун.

Больше уже и речи не было о том, чтобы отпустить ее, пока не началась гроза. Придется ей снять туфли, как другим людям в этом жалком квартале, где она наверняка живет, и ковылять босиком среди луж и потоков до конца переулка, куда ее не сможет подвезти такси. Мисс Пакун тут же вернулась и уселась, поправляя прическу и разглаживая юбку. Должно быть, в этот миг поблизости оказалась полицейская машина, потому что на улице вновь воцарилась зловещая тишина. Пока мисс Пакун тщательно подкрашивала лицо, Манг Уат сидел недвижно и слушал, как свиристит геккон прямо под кондиционером за его спиной: отрывистый стрекот вонзался в легкий гул мотора. И насекомые в деревьях

беспрерывно жужжали. Он пожалел, что решил отсрочить встречу. Пять минут тишины показались двадцатью. Когда время прошло, мисс Пакун, ослепительная, поднялась вновь и двинулась к выходу. Манг Уат остановил ее.

– Не печатайте ничего, пока этот человек здесь, – произнес он твердо. – Только от руки. У вас получится. – Он грозно взглянул на нее. – Это смутьян, – подчеркнул он. – Вы должны записать все, что он скажет.

Мисс Пакун всегда смущалась, когда он просил ее стенографировать разговор на английском, и говорила, что не очень хорошо знает этот язык. Результат ее работы, между тем, обычно выглядел неплохо. Манг Уат сердито взглянул на нее:

– Вы должны уловить каждое слово. Не исключено, что он станет мне угрожать.

Мисс Пакун вернулась с посетителем. Он был молод и походил на студента. С чуть заметной улыбкой постоялец сел на стул и произнес, глядя на Манг Уата:

– Спасибо, что приняли меня.

Манг Уат принял это за сарказм:

– Вы собираетесь жаловаться?

– Понимаете, – начал молодой человек, – я хочу продлить свою туристическую визу, не покидая страны.

Манг Уат хлопнул по столу ладонью:

– Тут какая-то ошибка. Вам нужно обратиться в департамент иммиграции. Моя секретарша даст вам адрес.

Молодой человек повысил голос:

– Я просто не хотел начинать с жалобы. Но придется сделать это сейчас. Вы оскорбляете гостей тем, что впускаете американцев в номера.

– А! Возможно, вам следует пожаловаться в тайскую полицию, – предложил Манг Уат и встал, показывая, что встреча подошла к концу. – Моя секретарша может дать вам и этот адрес.

Молодой англичанин бросил на него взгляд, полный нескрываемого отвращения.

– Вы идеальный менеджер для такого жалкого заведения, – пробормотал он. Затем, видя, что мисс Пакун встала и приоткрыла ему дверь, поднялся и широким шагом вышел, постаравшись со всей силы захлопнуть дверь приемной. Подготовленная к грубому обращению, дверь издала лишь обычный приглушенный всхлип. Услышав этот звук, воплощавший для него самую суть роскоши, Манг Уат вздохнул с чувственным удовольствием.

– На сегодня всё, – сказал он мисс Пакун.

Та взяла сумочку, на долю секунды одарила его сладчайшей улыбкой и затворила за собой дверь.

Было уже поздно, и дождь лил как из ведра. Мисс Пакун сильно промокнет, подумал Манг Уат, и к его удовлетворению примешался порыв жалости. Он зашел в соседнюю комнату, лег на диван и несколько минут смотрел телевизор. Потом встал. Пришло время провести вечернюю инспекцию кухни и, проверив еду, заказать ужин. Он закурил и спустился на лифте в холл.

Перед конторкой портье он неодобрительно нахмурился, глядя на пятна на ковре от мокрого багажа, который принесли с улицы. В этот момент взгляд его ненароком скользнул на другую сторону холла, и он увидел, как мисс Пакун идет из бара в сопровождении молодого англичанина. Они сразу вышли на улицу. К тому времени, как Манг Уат, не торопясь, добрался до двери, они уже садились в такси. Он ступил наружу и, укрытый навесом, увидел, как машина исчезает под ливнем.

По дороге на кухню Манг Уат остановился у конторки кассира и рассказал Удому о том, что видел. Он велел утром рассчитать мисс Пакун и проследить, чтобы ни при каких обстоятельствах она не поднималась в офис.

– Проститутка, – произнес он с горьким возмущением. – Обычная проститутка, а корчила из себя интеллигентную, образованную девушку.

1980

Буаяд и деньги

– *Аид-эль-Кебир* примерно через месяц. С каждым годом овцы дорожают, – сказал Буаяд. – В этом году будут дороже прежнего. Почему бы нам не купить двадцать овец в складчину? Когда наступит праздник, поделим выручку.

У Чауни всегда водились деньги. Он согласился. Они пошли в Сиди-Ямани и дешево купили животных у друга Буаяда. Наняли грузовик, чтобы перевезти овец в Танжер. Поместили в загоне у Буаяда и каждый день вместе гоняли их пастись за городом. Овца должна быть жирной и красивой к *Аиду*.

Как-то раз по лугу, где пасли овец Буаяд и Чауни, прошли солдаты. Полковник остановился и посмотрел на овец. Потом подошел к Буаяду и спросил, не хочет ли тот их продать.

– Может быть, – сказал Буаяд.

Цена, предложенная полковником, была в точности такой, какую они собирались запросить на рынке. Оба подумали, что лучше всего продать всех овец и больше не гонять их каждый день на пастбище. Полковник сказал, что на следующий день они должны придти в его контору в *квачле* и он отдаст им деньги. Поскольку он был человек известный, ему поверили на слово. Солдаты погнали овец, а Буаяд и Чауни остались одни на лужайке.

На следующий день, придя в *квачлу,* Буаяд обнаружил, что полковника вызвали в Рабат. Узнав об этом, Чауни решил на следующий день пойти сам.

Полковник по-прежнему был в Рабате. Они стали ходить в *квачлу* по очереди.

Так продолжалось несколько недель. В конце концов, им сказали, что полковник вернулся в Танжер. Но теперь, когда они приходили, его не было на службе. Им стало ясно, что платить полковник не собирается.

Буаяд был не из тех, кто смиряется с поражением. Он пришел к Чауни и сказал:

– Ты меня поддержишь? Что бы ни случилось? Мы получим деньги и добьемся, чтобы его разжаловали. Ты меня поддержишь?

– Нет, – ответил Чауни. – Мне надо думать о жене и детях.

– Так ты готов распроститься со всеми деньгами?

– Они пропали. Жаль, что вообще тебя послушал.

– Это значит, все, что я получу, – мое, – сказал Буаяд.

– Ладно. И заботы тоже твои. Тебе еще повезет, если в живых останешься.

– Все в руках Аллаха. Или я получу деньги, или ты меня больше не увидишь.

Он отправился в *амалат* и попытался встретиться с секретарем губернатора. Стража его не пустила. В этот момент удача озарила Буаяда. Пока он убеждал охрану перед входом в приемную, мимо проходил человек и остановился послушать. Потом заговорил с Буаядом. Они вышли наружу, и Буаяд поведал свою историю. Человек сказал:

– Я смогу тебе помочь. Приходи завтра к королевскому дворцу в Сиди-Амаре.

Буаяд не понял, чем занимается во дворце человек, но поверил ему, поскольку лицо у того было серьезное. На следующее утро он отправился в Сиди-Амар и вошел в открытые ворота. Немедленно его окружили солдаты. Они принялись наперебой его спрашивать, зачем он вошел. Он попытался рассказать им об овцах и о встрече, которую ему назначили накануне возле *амалата,* но они продолжали повсякому его шпынять.

И тут удача Буаяда превзошла все мыслимое. Король и дня в году не проводил в Танжере, но вышло так, что накануне он приехал из Рабата. Он не только был во дворце, а находился в саду недалеко от ворот и заметил суматоху. Он сделал знак солдатам отпустить Буаяда, чтобы тот подошел и изложил свое дело.

Король дослушал до конца. Затем велел Буаяду подождать и ушел во дворец. Пока Буаяд стоял в саду, человек в форме дворцовой стражи прошел мимо и улыбнулся ему. Буаяд узнал его: это он предложил ему прийти во дворец. Потом слуга принес подписанное королем письмо с распоряжением отправиться в Тетуан и передать письмо чиновнику, имя которого значилось на конверте.

Буаяд даже не зашел домой пообедать. Он сразу направился на авениду де Эспанья, взял такси с тремя другими пассажирами и отправился в Тетуан.

И снова его не впустили. А он никому не доверял и не хотел показывать письмо. Несколько часов он настаивал, что у него сверхсекретное послание, которое нужно вручить чиновнику собственноручно. Наконец, ему разрешили войти.

Чиновник взял письмо и прочитал. Потом на секунду зашел в соседнюю комнату и принес все деньги. Буаяд поблагодарил его.

Он вернулся в Танжер окрыленный. Рассказал все родным, а потом сразу навестил Чауни.

– Я вернулся, – сказал он, – а это значит, что я получил деньги.

– Все? – не мог поверить Чауни.

– Вот именно.

Чауни не сказал ничего. На следующий день он зашел к Буаяду.

– Я тут подумал: ты ведь и мои деньги получил.

– Твои деньги? Ты ведь распрощался с ними. Помнишь?

Чауни пошел домой. Вскоре он подал в суд на Буаяда, требуя не только свою долю, но и долю приятеля. Суд решил, что Буаяд имеет право оставить свою половину. А из другой Чауни должен был заплатить изрядную сумму адвокату и возместить то, что Буаяд потратил на поездку в Тетуан.

1980

Домик

Домик построили шестьдесят или семьдесят лет назад на главной улице тогдашней деревни в нескольких милях от города; теперь же город окружал его со всех сторон. Первоначально домик был одноэтажный, но потом над кухней надстроили еще одну комнату. В ясную погоду из верхнего окна можно было разглядеть очертания далеких гор на юго-западе. Перед этим окном лалла Аиша и любила сидеть, перебирая бусины четок и раздумывая, как изменилась ее жизнь после того, как сын перевез ее к себе в город. Там, за горами была долина, где она провела всю жизнь. Снова увидеть ее она не надеялась.

Поначалу ей казалось, что переезд в город – величайшая удача, но потом она засомневалась. Спору нет, еда лучше и ее вдоволь, но домик оказался слишком маленьким, и лалле Аише в нем было тесно. В глубине души он горевала, что Садек не нашел жены получше Фатомы, хотя у родителей Фатомы и был неподалеку большой дом. Ей казалось, что в обмен на брак с их никчемной дочерью Садеку могли бы предложить часть их дома. Все они бы там спокойно поместились и не путались друг у друга под ногами. Но когда она сказала об этом Садеку, тот лишь рассмеялся.

Молодые были женаты больше года, но о ребенке не было и речи, и лалла Аиша винила в этом невестку, не зная, что пара решила завести детей, когда удастся скопить денег.

А Фатома с того самого дня, как лалла Аиша переехала к ним, была нервной и несчастной. Старуха жаловалась на еду и постоянно придиралась к манере Фатомы вести хозяйство. За что бы ни взялась невестка, лалла Аиша застывала, внимательно на нее глядя, а потом качала головой и приговаривала: «Не так делали в мои времена, когда был жив Мулай Юссеф». Ей казалось, что, когда Садек возвращается с работы, Фатома небрежно подает ему ужин.

– Почему он должен ждать полчаса, прежде чем сесть за стол? – возмущалась она. – Почему ты не можешь все приготовить заранее и принести *тайфор,* когда услышишь, что муж идет? Он слишком добр с тобой, вот в чем беда, ты пользуешься его доверчивостью.

Потом лалла Аиша отводила Садека в сторону и рассказывала, как не любит ее Фатома и как пренебрежительно с ней обходится.

– Она не берет меня с собой на прогулки, не разрешает ходить с нею на рынок. Мне иной раз хочется пройтись, но сама я не могу. А в тот день, когда она водила меня к врачу, она шла так быстро, что я запыхалась. Ясно, она желает моей смерти, вот и все.

– Ты с ума сошла, – засмеялся Садек.

С того самого дня, как старуха переехала к ним, Фатома пыталась убедить ее отказаться от *хаика* и носить *джеллабу,* как все городские женщины, но лалла Аиша категорически не одобряла женщин в *джеллабах* и говорила, что Мулай Юссеф наверняка запретил бы такое бесстыдство. Для Фатомы *хаик* был символом деревенщины: больше всего она не хотела, чтобы ее приняли за провинциалку. Ей было стыдно ходить по улице рядом с ковыляющей старухой в *хаике*.

Всякий раз, когда находился повод, Фатома напоминала лалле Аише, что ей выделили лучшую комнату в доме. Обе знали, что это не так. Действительно, тут было больше окон и ярче свет, чем там, где спали супруги. Но комната была наверху, и с каждой грозой в крыше открывались новые течи, а Садек с Фатомой в это время нежились рядом с кухней.

Ни та, ни другая женщина не была уверена в своем верховенстве в доме, так что они не решались идти на риск и выказывать открытую враждебность: каждая боялась, что Садек внезапно возьмет сторону противницы. В его присутствии они вели себя тихо, и жизнь в домике текла относительно спокойно.

Давно уже лалла Аиша знала, что у нее посреди спины растет большая опухоль, но никому об этом не говорила. Как-то раз, помогая ей подняться с пола, Садек нащупал выпуклость под ее одеждой и вскрикнул от изумления. Было непросто уговорить ее сходить к врачу, но Садек настаивал и, в конце концов, добился своего. Врач посоветовал немедленно вырезать опухоль и назначил дату операции.

Перед тем, как лечь в больницу, старуха волновалась. Она слышала, что нужно опасаться наркоза, боялась истечь кровью до смерти и говорила, что не верит в назарейские лекарства.

– Все в порядке, – сказал ей Садек. – Ты поправишься.

Вечером перед ее отъездом Садек с Фатомой сидели у себя комнате, обсуждая, во сколько обойдется операция. Лалла Аиша пошла наверх собирать вещи.

– Все деньги, которые я сберегла, экономя на еде, – с горечью заметила Фатома.

– Будь это твоя мать, ты бы об этом не думала, – сказал Садек.

Она не ответила. В дверь постучали. Лалла Халима, старуха-соседка, зашла повидаться с лаллой Аишей и пожелать ей счастливого пути.

– Она наверху, – равнодушно сказала Фатома.

Вздыхая и кряхтя, старуха вскарабкалась по ступеням, а Садек и Фатома продолжили безрадостный спор.

Утром, когда лалла Аиша отправилась в больницу, а Садек с Фатомой завтракали, Садек оглядел комнату.

– Все как-то изменилось, когда она уехала, верно?

– Стало тихо, – отозвалась Фатома.

Он быстро повернулся к ней:

– Знаю, тебе не нравится, что она здесь. Знаю, она тебя раздражает. Но это моя мать.

Фатома почувствовала, что атмосфера накаляется.

– Я просто сказала, что стало тише, вот и все.

Вечером, когда Садек пришел с работы, Фатома передала ему большую корзину. Он поднял ее.

– Тяжелая.

– Отнеси матери в больницу. Это *таджин* с лимоном, еще горячий.

Это было любимое блюдо его матери.

– Слава Аллаху, она будет очень рада! – И он поцеловал Фатому, довольный, что она так похлопотала.

Когда он добрался до больницы, двери были заперты. Он постучал по стеклу. Появился охранник и сказал, что приемные часы закончились, а еду вносить ни в коем случае нельзя. Садек льстил, умолял, угрожал, но все без толку. Охранник захлопнул дверь, оставив его с корзиной на ступенях.

Они с Фатомой не любили лимонный *таджин,* так что он не видел смысла нести его домой. Было бы грешно его выбросить: кто-то должен съесть, пока не остыл. Тут Садек вспомнил о родителях Фатомы, живших в двух шагах от больницы. Они любили старомодные кушанья и наверняка обрадуются свежему *таджину*.

Встретив мать Фатомы на кухне, он поздоровался и вытащил горшок из корзины.

– Вот *таджин,* который только что приготовила Фатома, – сказал он.

Она заулыбалась:

– Си Мохаммед будет очень рад, когда увидит, что у нас на ужин.

На следующее утро, спозаранку, когда Садек завтракал, в дверь забарабанили. Двое полицейских, стоявших на улице, схватили его и, не дав попрощаться с Фатомой, запихнули в джип.

Его недоумение было недолгим. В *комиссарии* ему предъявили корзинку и горшок, в котором еще оставалось изрядное количество *таджина*. Ему объяснили, что *таджин* был полон яда, а его теща умерла. Си Мохаммед, лежавший в больнице, обвинил его в убийстве.

В этот момент одна только мысль занимала Садека: Фатома пыталась убить его мать. Сбитый с толку длинным допросом, он громко пробормотал что-то из своих соображений: эти обрывки привлекли внимание полиции.

– Аллах покарал ее! Хотела убить мою, а убила собственную.

Вскоре они поняли, что он говорит о своей жене, но не поверили рассказу, пока вызванный охранник больницы всё не подтвердил. Он хорошо запомнил Садека, поскольку тот так назойливо пытался передать еду своей матери.

Послали за Фатомой. Ее ошеломило известие о смерти матери, а внезапный арест Садека потряс. Ее ответы были невнятными, если не считать признания, что она дала Садеку корзинку с горшком *таджина* и попросила отнести в больницу. Фатому заперли в камере.

Прошло несколько недель, начался суд. Лаллу Аишу выписали из больницы, и она вернулась в пустой дом. Дурные новости о Садеке и Фатоме она восприняла бесстрастно, только покачала головой и прошептала:

– Такова воля Аллаха.

– Не понимает, что стряслось, – шептались за ее спиной. – Это слишком для нее, бедняжки.

Каждый день соседи приносили еду, так что ей не приходилось ходить на рынок. Теперь лалле Аише не нужно было карабкаться наверх по вечерам;

она устроилась в супружеской спальне, объяснив соседям, что когда Садек с Фатомой вернутся домой, она уже поправится после операции и взбираться по лестнице ей будет проще.

– Она до сих пор не поняла, – говорили друг другу соседки.

На суде Фатома показала, что дала Садеку корзину с едой, но ничего не знала о яде.

– Итак, вы признаете, что *таджин* был сделан на вашей кухне.

– Конечно, – сказала Фатома. – Я была там, когда старуха его готовила. Вечером перед тем, как отправиться в больницу, она все для *таджина* сложила вместе, как она любит. И велела мне приготовить на следующий день, чтобы Садек отнес в больницу.

Это показалось суду неубедительной выдумкой. Решено было прерывать заседание и вызвать лаллу Аишу на следующее.

Старуха появилась на месте для свидетелей, закутанная в свой *хаик*. Ей велели снять его с головы, чтобы слышно было, что она говорит. Затем, потрясенные, они услышали, как она заявила с ноткой гордости, что, разумеется, приготовила *таджин* собственноручно.

– Да, да, – сказала она. – Я люблю, когда там много маринованных лимонов.

– А что еще вы туда положили? – спросил *кади* обманчиво ласковым тоном.

Лалла Аиша стала перечислять список ингредиентов. Потом умолкла и спросила:

– Вам нужен полный рецепт?

Все засмеялись. *Кади* призвал к тишине и, пригвоздив ее угрожающим взглядом, произнес:

– Ясно. Среди нас шутница. Садитесь. Мы к вам вернемся позже.

Лалла Аиша села и опустила взгляд, бормоча и перебирая бусины на четках. *Кади* время от времени поглядывал на старуху, раздраженный ее безразличием. Он ждал полицейских, которых оставили в доме Садека, когда лаллу Аишу привели в суд. Вскоре они появились. Наверху, в шкафу среди ее одежды обнаружили полупустую банку того же крысиного яда, который нашли в *таджине*.

Кади с довольным видом снова вызвал лаллу Аишу на свидетельское место. В его левой руке была жестянка, и он потряс ею перед лицом старухи.

– Вы когда-нибудь видели эту банку? – спросил он.

Лалла Аиша не смутилась:

– Конечно, видела. Это мое. Я это положила в *таджин*.

Шепоток пробежал по залу: зрители решили, что старуха слабоумная. На миг глаза и рот *кади* расширились. Потом он нахмурился:

– Ах так, вы признаете, что положили яд в *таджин?*

Лалла Аиша вздохнула:

– Я же спросила вас, хотите ли вы весь рецепт, а вы не захотели. Я положила туда полкило лимонов. Они забивают вкус порошка.

– Продолжайте, – велел *кади,* не спуская с нее глаз.

– Это была специальная еда для меня, – продолжала старуха возмущенно. – Ни для кого другого. Это было лекарство. Вы же не думаете, что я бы стала его есть, верно? Я хотела, чтобы яд в *таджине* вытянул яд из моего тела.

– Не понимаю, о чем вы говорите, – сказал *кади*.

– Набираешь его в рот и выплевываешь. Потом набираешь еще больше и выплевываешь, и так дальше, а в промежутках полощешь рот. Это старое снадобье из моего *тчара*. Оно избавляет от всех ядов.

– Вы что – не понимаете, что убили женщину своей ерундой?

Лалла Аиша покачала головой:

– Нет-нет. Так заповедал Аллах, вот и все.

Из другого конца зала донесся крик Фатомы:

– Вранье! Это неправда! Она знала, что еду не разрешат пронести! Знала до того, как попала в больницу!

Фатому утихомирили. *Кади,* тем не менее, сделал пометку, и на следующий день, когда Фатому вызвали на свидетельское место, попросил продолжить. После рассказа Фатомы вызвали лаллу Халиму – соседку, жившую напротив. Ее тоже попросили развязать *хаик,* что она сделала с заметным недовольством.

– За два, а может, три дня перед тем, как лалла Аиша должна была лечь в больницу, я пришла ее проведать. Я хотела сделать ей приятное, так что сказала: «Я попрошу дочку приготовить *каброзели* и может быть *мрозейю,* чтобы тебе принесли в больницу». Она ответила: «Это очень мило с твоей стороны, но ничего не выйдет. Врач мне говорил, что есть новый закон: они ничего не пропускают снаружи». Но я все-таки попросила дочь испечь *каброзели* и отнесла ей за день до того, как она легла в больницу. Подумала, может ей удастся обернуть их в одежду и засунуть в сумку, чтобы не увидели.

– Хватит, – сказал *кади,* жестом отпуская ее. Его глаза блестели, когда он обратился к лалле Аише:

– Ну а теперь что скажете?

– Я вам все сказала, – спокойно ответила та. – Я очень спешила, чтобы мое лекарство было готово, и забыла, что его не позволят пронести. Я старая женщина, у меня в голове все спуталось.

Шум раздался в углу зала – кричала Фатома:

– Она не забыла! Она знала, что Садек оставит *таджин* у моей матери!

Когда Фатому выводили из суда, она все еще кричала и сопротивлялась. Лалла Аиша стояла спокойно, ожидая, когда к ней обратятся. *Кади* просто глядел на нее с недоумением.

Наконец, он произнес раздраженно:

– Глупая, невежественная женщина. Слыханное ли дело, чтобы яд во рту впитывал яд в крови? Думаете, кто-то поверит в этот вздор?

Лалла Аиша ничуть не смутилась:

– Да, – сказала она уверенно. – Всем известно, что назарейские лекарства работают лучше, если с ними принимать мусульманские. Сила Аллаха велика.

В отчаянии *кади* закрыл дело и отпустил подсудимых домой, предупредив Садека, что он будет отвечать за любую неприятность, причиненную его матерью, поскольку ясно, что она за свои действия не отвечает.

В ту ночь, когда лалла Аиша уснула в своей комнате наверху, Фатома предъявила Садеку ультиматум. Либо он отправляет мать восвояси, либо Фатома уходит от него и переезжает к отцу.

– Она убила мою мать, я с ней в доме не останусь.

У Садека хватило ума согласиться; спорить он не стал. Учитывая, что́ его мать натворила, он и сам пришел к выводу, что лучше отправить ее обратно в деревню к родне.

Лалла Аиша выслушала новость спокойно; похоже, она ее ожидала. В надежде убедить ее, что это не его прихоть и он не просто хочет от нее отделаться, Садек добавил:

– Видишь, что натворила твоя глупость.

Тут она повернулась и взглянула ему в глаза:

– Ты не имеешь права ни в чем меня винить, – сказала она. – Я не виновата, что ты все еще живешь в этом домике.

Тогда он не обратил внимания на это замечание, принял за старческую вздорность. Но потом, когда вернулся из *тчара* в долине и снова тихо зажил с Фатомой, вспомнил ее слова. И потом часто о них думал.

1981

Пустой амулет

Отец Хабибы, консьерж в главной гостинице города, хорошо обеспечивал семью, но был необычайно строг. Некоторые подруги Хабибы ходили в школу и даже сдавали экзамены, чтобы стать секретаршами, бухгалтершами или ассистентками стоматологов. Однако отец Хабибы считал все это в высшей степени аморальным и даже слышать не хотел о том, чтобы она пошла в школу. Вместо этого она научилась вышивать и вязать на современных немецких машинках, которые он для нее купил.

Когда Мумин, живший по соседству юноша, пришел просить руки Хабибы, ее отец согласился, зная, что молодой человек работает в местной больнице врачом-интерном, так что имеет постоянный заработок. Хабибу не спрашивали. Она была счастлива, что избавилась от родительского дома и вечного вышивания.

Поскольку Мумин был юношей современным, он не запирал жену дома, когда уходил на работу. Напротив, убеждал ее познакомиться с молодыми замужними соседками из их квартала. Так она оказалась в компании женщин, которые встречались каждый день то в одном доме, то в другом.

Вскоре Хабиба обнаружила, что больше всего ее подруг увлекают разговоры о здоровье. Каждая утверждала, что страдает от какого-то недомогания или хвори. Это обескуражило Хабибу, поскольку она, сама всегда в добром здравии, могла лишь сидеть и слушать, когда возникала тема болезней.

Однажды Хабиба проснулась с головной болью. Она пожаловалась подругам, когда те навестили ее утром, и тотчас стала центром внимания. На следующий день, когда они справились о ее здоровье, она сказала, что голова еще болит. И в самом деле: когда она думала об этом, ей казалось, что время от времени накатывает приступ. Каждая женщина была наготове со своим лекарством, но все согласились, что самый верный способ – посещение гробницы Сиди Ларби.

В их компании были еще три женщины, которым хотелось совершить паломничество. И вот, несколько дней спустя, Хабиба отправилась с ними в большом такси к Сиди Ларби. Они прихватили с собой еду для пикника, и Хабиба, по их совету, запила ее стаканом воды, содержащей щепоть черной земли, взятой у мавзолея. Каждая забрала домой горсть этой почвы, чтобы потом использовать. После дня на свежем воздухе Хабиба не чувствовала и намека на головную боль.

– Пей землю пять вечеров подряд, – посоветовали ей.

Вернувшись, она спрятала сверток с землей, поскольку знала, что Мумин не одобряет народную медицину. Его возражения были такими яростными, что Фатома заподозрила: может, Мумин тоже боится, как она боялась заходить к нему в больницу. Тошнотворные запахи лекарств, баки с окровавленными бинтами, блестящие шприцы – все наполняло ее страхом.

Почти каждую неделю одна из ее подруг совершала паломничество к Сиди Хуссейну, Сиди Ларби или другой не слишком удаленной гробнице. Мумину казалось, что Хабиба постоянно собирается посетить того или иного святого; то у нее боли в спине, то колики, то окостенела шея. Какую бы хворь она ни упомянула, всегда находился святой, способный ее исцелить.

Однажды вечером Мумин неожиданно зашел на кухню и увидел, что Хабиба размешивает землю в стакане воды.

– Хабиба! Нельзя этого делать! – вскричал он. – Так лечились сто лет назад.

– И двести, и пятьсот, – парировала она, глядя на стакан.

– Ты дикарка! Противно смотреть на тебя!

Хабиба была невозмутима. Она знала, что Мумин считал таблетки и уколы, придуманные назареями, лучше бараки святых. Этим меня не проймешь, решила она, он на меня не повлияет.

– У меня боли в боку, – сказала она. – У Рахмы были такие же боли, и грязь от Сиди Ямани помогла от них избавиться за сутки.

– Я дам тебе таблетки, если ты придешь завтра утром в больницу, – сказал он, собираясь вручить ей сладкие пилюли, совершенно ничего не содержащие, ведь он не сомневался в ее прекрасном здоровье.

– Вот мое лекарство, – сказала она, взбалтывая стакан, чтобы вся грязь растворилась.

Мумину хотелось вырвать у нее стакан и швырнуть на пол, но он сдержался. Только покачал головой.

– Ты такая красивая девушка, а глотаешь землю!

Хабиба прислонилась к раковине и спокойно выпила весь стакан.

В день, когда Мумин узнал, что Хабиба ждет ребенка, он долго сидел в кафе, раздумывая, как удержать ее от нелепых паломничеств. В какой-то момент он поднял глаза и заметил книжечку папиросной бумаги, которую кто-то забыл на соседнем столике. Он взял ее. Лениво вытащил два листочка рисовой бумаги и смял их. Пока он смотрел на бумажный шарик, у него возник план.

Он заплатил *кауаджи* и, взяв с собой книжечку папиросной бумаги, отправился в *мединy* к приятелю, работавшему там ювелиром. Ему хотелось, чтобы тот сделал крошечный золотой футляр, в котором помещалась бы *барака*. Пока они обсуждали размер и цену украшения, Мумин залез в карман и вытащил две бумажки, которые он скомкал в шарик. Когда они договорились, он попросил у ювелира шелковую нитку и обвязал вокруг бумажного шарика.

– Вот *барака,* – сказал он приятелю, а тот бросил ее в конверт с именем Мумина и пообещал, что цепочка и кулон будут готовы завтра днем.

Из маленькой золотой клетки на тонкой цепочке получилось славное ожерелье. Мумин принес его домой, застегнул на шее Хабибы и сказал:

– Вот *барака* от очень искусного *фкиха*. Это чтобы оберегать ребенка.

Ему было немного стыдно, но он облегченно вздохнул, убедившись, как много значил для нее подарок. В последующие месяцы, когда у Хабибы могли возникнуть недомогания, она оставалась безропотна и счастлива. Она объяснила подругам, что муж не хочет, чтобы она разъезжала в такси по деревенским дорогам, поскольку это может повредить ребенку, и они согласно закивали.

– Кроме того, – сказала Хабиба, – мне больше не надо туда ездить.

– *Хамдулла,* – ответили они.

Ребенок родился: крепкий малыш, в младенчестве ни разу не захворал. Сама Хабиба лучилась здоровьем; с того дня, как она стала носить амулет у сердца, ни разу не пожаловалась на недомогание. Этот кулон она ценила превыше всего. Дни паломничества и поедания земли остались далеко позади; Мумин был доволен, что отыскал столь простое решение сложной проблемы.

Как-то летним днем Хабиба поднялась после сиесты и взяла ожерелье со стола, чтобы застегнуть на шее: она не любила ходить без него. Цепочка почему-то порвалась, клетка соскользнула на пол и куда-то

укатилась. Хабиба принялась ее искать, услышала под ногой легкий хруст и поняла, что наступила на амулет. Крышечка отломилась, выкатился бумажный шарик. Хабиба подняла сломанную клетку и *бараку,* что была внутри. Шелковая нитка соскользнула, папиросные бумажки раскрылись.

Хабиба разгладила их. Ни на одной не было ни слова. Она поднесла их к свету и увидела водяные знаки; тогда она поняла, что это такое. Долго она сидела неподвижно, пока обида постепенно сменялась гневом на мужа, который столько времени ее обманывал. Когда Мумин пришел вечером домой и увидел ее лицо, он понял, что настал час расплаты. Хабиба на него кричала, плакала, дулась, говорила, что никогда ему больше не поверит до конца своих дней.

Несколько дней она с Мумином не разговаривала, а заговорив наконец, объявила, что у нее головокружение и рези в желудке. Он растерялся, увидев, что впервые она и впрямь выглядит больной.

– Из-за твоего вранья все это время я была без *бараки,* – сетовала она.

– Да, но ты все это время была здорова, – напомнил он.

– И поэтому больна сейчас! – закричала она. – Это ты виноват!

Мумин не пытался отвечать; бессмысленно было ожидать, что она воспримет логический ход мыслей.

Еще не закончилась неделя, а Хабиба с двумя подругами отправилась к Сиди-Ларби. С того момента Мумин не слышал от нее ничего, кроме неизменного потока жалоб, прервавшегося лишь в тот день, когда они развелись.

1981

Сплетня и лестница

I

Мсье Дюкро сидел в одиночестве в просторном номере парижского отеля, готовясь написать письмо дочери в Куала-Лумпур. Он нахмурился, взглянув на почтовую бумагу с грифом гостиницы, который был просто напечатан, а не вытиснен, как в его прошлый приезд. Знак времени, машинально подумал он. Медленное вторжение нищеты со всех сторон. Затем взглянул на гипс, в который была закована его нога, чуть улыбнулся и принялся писать.

Моя дорогая Клотильда,

Надеюсь, мое необычное молчание не встревожило тебя. Обычно я хороший корреспондент; признаю это. Не могу поверить, что Куала-Лумпур сильно изменился с 1965 года. Как ты знаешь, это было мое последнее назначение. Рад слышать, что Абд-эр-Рахман и его жена все еще там, вот удивительно. Свой восемьдесят пятый день рождения я тихо провел в Танжере. Сейчас ты узнаешь, что я имею в виду под «тихо».

Поразительна ирония некоторых ситуаций, в которые жизнь настойчиво вовлекает нас! Что я делал, стоя на верхней ступеньке приставной лестницы в библиотеке воскресным утром? Вполне закономерный вопрос с твоей стороны. Я тоже спрашиваю себя об этом, но с изрядным запозданием.

Когда я заметил, что лестница накренилась (ибо именно с этого все и началось) и понял, что вот-вот

упаду, мне одновременно пришли в голову несколько мыслей: что ничего не закончено; что было идиотством туда забираться; что люди решат, будто я был пьян или стал жертвой нападения (предположения, одинаково вредные для посмертной репутации человека в этом порочном городе, где, как тебе известно, никто ни о ком ничего хорошего не думает); и превыше всего убеждение, что все обернется скверно, и в результате вы с Пьеро отчего-то не сможете унаследовать Эль-Хафу. Потому что, моя девочка, я был уверен, что это конец. Затем нога застряла в лестнице, мы рухнули, приземлились на пол, и вот я лежу, голова трещит, и совершенно уверен, что нога сломана выше колена. К счастью, тут оказался чичауасский ковер, иначе бы я свалился на мрамор. Бесконечно долго я звал Аннамарию. Появившись, наконец, та объявила, что ветер грохотал ставнями и она не сразу меня услышала. В самом деле, ее комнаты выходят на северо-восток, а на улице буря. И все же…

Я велел ей послать Абделама пешком в клинику доктора Ринальди. (Телефон больше трех недель не работал.) Появился Ринальди. Перелом бедра. Он увидел лесенку у книжных полок и взглянул на меня с упреком. Меня отправили в больницу, и я, казалось, целую вечность пролежал в растяжке. На самом деле прошло меньше полутора месяцев…

II

– Мне необходимо поехать в Париж, – сказал мсье Дюкро, рассматривая ногу, все еще закованную в гипс. – Как видите, я теперь прекрасно управляюсь с тростью.

Доктор Ринальди пожал плечами.

– Пока вам везло, – сказал он. – Отчего не предположить, что будет везти и дальше?

Они сидели, потягивая виски в библиотеке, где произошел несчастный случай. После некоторого замешательства доктор Ринальди поинтересовался, правдив ли слух о том, что его собеседник собирается продавать Эль-Хафу.

Мсье Дюкро рассердился:

– Что за вздор! Конечно же, нет! Я и не думал продавать. Знаю, что этот саудовец готов купить и предложит хорошую сумму. Но я хочу, чтобы моя дочь с мужем получили имение после моей смерти. Я все свои годы на пенсии провел в этом доме, и все, что у меня есть на свете, находится тут.

Доктор Ринальди одобрительно оглядел комнату:

– Здесь много сокровищ, да. Удивительно, как японское, тибетское, кхмерское и персидское сочетаются в одной комнате.

– Не совсем так, если вдуматься, – заметил мсье Дюкро, но уточнять не стал. – Суть в том, что я не хочу ни от чего отказываться. Это понятно. Когда меня окружают мои вещи, я словно все еще там, на Дальнем Востоке. Мне нравится моя скромная жизнь, и, уверяю вас, я не собираюсь прекращать ее, продавая Эль-Хафу.

– Вот что меня занимает, – сказал миг спустя доктор Ринальди. – Те картины в самом углу залы. Их трудно не заметить.

Мсье Дюкро хмыкнул:

– Да, они бросаются в глаза, я знаю. Но, в сущности, в них мало смысла. Я специально повесил их в темноте, в том углу. Мадам Дюкро купила эти работы после Первой мировой войны. Я в них мало что смыслю, признаюсь. Слышал, что они имеют некоторую ценность, но не могу отнестись к этому серьезно. Храню их, потому что они так нравились моей жене.

Марокканец в белой куртке объявил, что ужин подан. Доктор Ринальди протянул мсье Дюкро его трость, и они встали.

За столом мсье Дюкро указал на графины в центре.

– Белое – простое «Вальпьер». Красное – весьма недурное бордо. Ты отнес поднос мадмуазель Херцлер, Абдеслам?

Когда они остались в столовой одни, он продолжил доверительно:

– Моя секретарша настояла на том, чтобы питаться у себя в одиночестве. Мне кажется, она не вполне здесь счастлива. Очень жалуется на ветер. Швейцарка, – добавил он, словно это все объясняло.

Доктор Ринальди, занятый жареным морским языком, не ответил. Наконец, поднял взгляд и произнес с величайшей серьезностью:

– Подозреваю, что вы изрядно недооцениваете стоимость этих полотен. Позвольте поинтересоваться, как, по вашему мнению, их сейчас оценивают на рынке?

Мсье Дюкро оторвался от еды и на миг задумался.

– Понятия не имею, – сказал он.

– Только за пять картин Сутина я могу вам завтра же принести два миллиона франков. – Сделав это заявление, он уставился на хозяина, словно измеряя его реакцию. Уловил вспышку интереса, за которой немедленно последовало недоверие:

– Нелепость. Это все же не Тициан.

– Я совершенно серьезно.

Мсье Дюкро притих. Потом вздохнул:

– Даже если ваши подсчеты не драматически преувеличены и даже если бы я хотел избавиться от картин, в чем смысл? Эти деньги здесь не потратишь, а из Марокко их не вывезти.

– Да ладно, – сказал доктор Ринальди. – Всегда найдется способ.

– Нет, благодарю, – отрезал мсье Дюкро. – Законы как таковые нелогичны и зачастую несправедливы, но я не из тех, кто их нарушает.

– Друг мой, вы действуете в духе отжившей эпохи. Но я одобряю, одобряю.

– По моему разумению, рациональный человек – тот, кто соблюдает законы.

– Но увы! – вздохнул доктор Ринальди. – Как человечно быть иррациональным.

Мсье Дюкро украдкой взглянул на гостя: он заподозрил, что эти последние слова – завуалированный намек на его несчастный случай. Врач уже сурово распекал его за то, что он позволил случиться такой нелепости. Разве не для того существуют слуги, чтобы лазить по лестницам? Он не упомянул возраст мсье Дюкро, но фраза умолчания не много значила, поскольку свое мнение он выразил очень резко. Мсье Дюкро узнал грозный тон; с тех пор, как он отметил свой восьмидесятый день рождения, все врачи говорили с ним именно так.

Они перешли на другие темы. Но позднее, за кофе и арманьяком в кабинете, мсье Дюкро озадаченно обратился к гостю:

– Вернемся на секунду к делу с этими картинами. Как ваш покупатель устроит их вывоз из страны? Просто любопытно.

– Об этом нет и речи, – заверил его врач. – Американский коллекционер строит дом в Марракеше. А что? Вы соблазнились?

Мсье Дюкро покачал головой:

– Нет-нет! Нисколько.

III

Их следующая встреча, меньше чем через неделю, была неожиданной и бурной. В разгар буднего дня водитель такси привез мсье Дюкро в клинику доктора Ринальди в состоянии, близком к инфаркту. Гипс на его ноге был разрезан, изнутри торчали клочья марли.

Видя, что мсье Дюкро не в состоянии изъясняться внятно, доктор Ринальди спросил таксиста:

– Его сбила машина?

Водитель не знал. Его вызвал чиновник аэропорта и потребовал доставить пассажира домой, но по дороге старик потребовал, чтобы его отвезли в клинику.

Мсье Дюкро уложили в постель и сделали ему укол. К вечеру, после несколько часов вынужденного сна, он пришел в себя и рассказал свою историю доктору Ринальди.

Абделам отвез его в аэропорт, передал багаж носильщику и уехал. Объявили рейс до Парижа. Пока проверяли паспорт мсье Дюкро, откуда ни возьмись появился человек, попросил его пройти во внутренний кабинет, и там еще двое заставили его раздеться. Не удовольствовавшись этим, они отказались поверить, что его нога сломана и, удерживая его силой, разломали гипс и распотрошили все внутри в поисках денег.

– Это из-за сплетни! Они имели наглость заявить мне, что получили секретные сведения, будто я продал Эль-Хафу.

Доктор Ринальди был потрясен до глубины души:

– Неслыханно! Нужно немедленно сообщить Эрбье в консульство.

– Я подам в суд на возмещение убытков! – слабо вскрикнул мсье Дюкро.

– Мой бедный друг, из этого выйдет гигантский пшик. Вы достаточно здесь прожили, чтобы это понимать. Вы можете сделать только одно: смириться с тем, что случилось, проверить, в порядке ли нога, наложить новый гипс и поехать снова.

Мсье Дюкро на миг закрыл глаза и снова открыл.

– Вы можете мне помочь, – сказал он.

– Разумеется. Как ваш врач, я могу подтвердить, что перелом настоящий. Возможно, они захотят и рентгеновские снимки посмотреть, – добавил он едко.

Казалось, мсье Дюкро не слушает. Он глядел в потолок.

– Да, вы можете мне помочь, – повторил он.

Доктор Ринальди решил, что пациенту пора отдохнуть.

– Можете на меня положиться, – сказал он.

На следующий день он вошел в палату и сказал, что готов сделать новый гипс. Мсье Дюкро замахал руками:

– Нет-нет, я не хочу.

– Но ведь следует наложить гипс. Без него вы не сможете ходить.

– Я и не буду ходить. Я останусь дома в постели, а вы придете ко мне и все сделаете.

– Как хотите, – отрезал доктор Ринальди, чувствуя, что потакает глупым капризам неразумного старика.

– Абделам может забрать меня сегодня днем. Сможете прийти в пять?

Мимолетно доктору пришло в голову, что происшествие в аэропорту могло привести к небольшому повреждению мозга. В каком-то неявном смысле характер мсье Дюкро, казалось, слегка изменился.

– Вы не должны наступать на ногу, – сказал врач, хмурясь. – Даже несколько шагов по комнате. Договорились?

IV

В Эль-Хафе доктор Ринальди обнаружил, что его пациент лежит на гигантской старинной кровати; камчатный занавес, свисавший с балдахина, почти скрывал его из вида.

– Я беспрекословно вам подчинялся, – сообщил мсье Дюкро, когда доктор и его ассистент вошли в комнату.

Доктор Ринальди засмеялся:

– Когда вы планируете следующую попытку к бегству?

– Я еще не думал об этом, – сказал мсье Дюкро. – Можно пять минут поговорить с вами наедине?

Доктор Ринальди дал знак марокканцу, и тот вышел. Когда они остались одни, мсье Дюкро приподнялся и поманил своего гостя.

– Я все объясню, – шепнул он. – Понимаете, я не хочу, чтобы вы сегодня накладывали гипс. И я решил продать эти картины, если вы сможете связаться с американцем.

Это бессвязное сочетание мыслей подтвердило прежние подозрения доктора Ринальди: он увидел в них ясное проявление дисфункции мозга.

– Позвольте, – сказал он, садясь на край кровати. – Не все сразу. Могу я спросить, почему вы решили отказаться от гипса?

– Потому что я должен удостовериться, что картины можно продать. По-моему, это очевидно.

– Я не могу увязать два вопроса, – произнес доктор сухо. – Но, поскольку, в первую очередь, вас очевидно интересует продажа картин, могу сказать: да, их действительно можно продать и очень быстро, если захотите. Я сам их куплю и перепродам.

– С достойной выгодой для себя, надеюсь, – улыбнулся мсье Дюкро.

– Вполне возможно.

– Вы говорили о двух миллионах, если не ошибаюсь.

Доктор Ринальди засмеялся:

– Если вы готовы добавить Вламинка, Руо и Кокошку, – два с четвертью.

Мсье Дюкро всплеснул руками:

– Кокошку, ну еще бы! Да я не могу отличить одну от другой. Они одинаково нелепы. Так что все вместе получается восемь, верно? У меня есть несколько старых тайских вещей, я повешу их в углу залы. Они подходят намного лучше.

Доктор Ринальди испытующе посмотрел на пациента:

– Это серьезно? Вы действительно хотите, чтобы я прямо сейчас выписал чек?

– Вовсе нет! Наличные. Во французских франках.

Врач открыл рот.

– Но… – начал он.

– Вы не согласны?

– Это займет время. Возможно, завтра вечером.

Мсье Дюкро снова всплеснул руками:

– Просто принесите мне сюда франки.

Неодобрительно качая головой, доктор Ринальди сказал:

– Слишком большая сумма, опасно оставлять в доме.

Казалось, это озадачило мсье Дюкро:

– Вы ведь наверняка догадались, что нужно сделать с банкнотами. Вы замуруете их в гипс. Они думали, что это случилось в первый раз, но произойдет во второй.

После долгого молчания доктор Ринальди медленно произнес:

– Вряд ли вы ожидаете, что я стану рисковать своей должностью, чтобы просто помочь вам совершить подлог.

– Подлог! – возбужденно вскричал мсье Дюкро. – Меня уже наказали. Теперь я хочу заслужить это наказание.

Доктор поднялся:

– Нахожу это необычайным – полную перемену в ваших взглядах на мораль.

– Ничего не изменилось. То, что было вопросом этики, стало вопросом чести.

Доктор Ринальди прошелся по комнате, следуя узору ковра.

– Вы представляете, сколько мне придется работать – делать это все без ассистента?

Мсье Дюкро, понимая, что победил, гнул свое:

– Эрбье связался с Рабатом, верно? Он получил официальное извинение за инцидент. Повторение абсолютно исключается. Элемент риска устранен.

Доктор вернулся к кровати и опустил руки на спинку.

– Забираю назад слова, которые я произнес недавно за ужином. Вне всяких сомнений, вы – порождение нашей эпохи.

– Я смотрю на это иначе, – быстро откликнулся мсье Дюкро. – Эта маленькая хитрая месть вовсе не повлияла на мои взгляды. Мы играем в воспитательную игру «зуб за зуб», вот и все.

– Вполне годится, – сказал доктор Ринальди. – Вам вообще не понадобится медицинское свидетельство, если сам Эрбье отвезет вас в аэропорт.

…таким вот образом твой отец сделал первый шаг к преступлению. Но преступники бывают страстно привязаны к своим родственникам. Так что иди в Гонконгско-Шанхайский банк в Куале и спроси мистера Найджела Доусона. Он сообщит, что теперь у тебя имеется счет, и на нем лежат семьдесят пять тысяч британских фунтов. Уверен, что есть много вещей, на которые их можно потратить, включая, надеюсь, ваш с Пьеро приезд в Танжер в обозримом будущем.

Картины достались мне от твоей матери. И, думаю, ей пришелся бы по душе нелепый поворот событий, благодаря которому мне удалось выручить за них небольшое состояние. Но удача всегда абсурдна.

Воображаю, как ты сидишь в сомнительной свежести кондиционированной квартиры, глядя вниз на деревья и машины «Kuala l'impur»*, как называл его Кокто. Но есть вещи куда более нечистые!

Помни, что я думаю о тебе и, умоляю, сообщи новости поскорее.

ton père qui t'aime**

1981

* Куала-нечистый (*фр.*).

** Любящий тебя отец (*фр.*).

В красной комнате

Когда у меня был дом на Шри-Ланке, однажды зимой родители решили меня проведать. Поначалу я сомневался, стоит ли вообще их зазывать. Различные неудобства – постоянная жара, непривычная еда и питьевая вода, даже присутствие клиники для прокаженных в четверти мили от дома – могли запросто испортить им настроение – не одним, так другим. Но я недооценил их стойкость; неожиданно для меня они проявили величайшую приспособляемость и вроде бы смирились со всем. Они говорили, что им безразлична не текущая в туалетах вода и постоянно хвалили острые блюда, которые готовил Аппухами – домашний повар. Обоим было за семьдесят, их не привлекали дальние или недостижимые достопримечательности. Им вполне нравилось сидеть дома – читать, спать, вечером купаться в океане и недолго кататься по побережью в наемном автомобиле. Если водитель неожиданно останавливался у святилища, чтобы поднести кокосовый орех, они были в восторге, если им попадались слоны, топающие по дороге, машину останавливали чуть впереди, так что можно было наблюдать, как слоны приближаются и проходят мимо. Фотографией они не увлекались, и это освободило меня от, пожалуй, самой неприятной задачи чичероне: периодически ожидать, покуда человек совершает ритуал с фотокамерой. Они были идеальными гостями.

Коломбо, где обитали все мои знакомые, находился всего в сотне миль от нас. Я договаривался по телефону с друзьями, и несколько раз мы приезжали туда на уикенды. Там мы пили чай на широких верандах домов в Коричных Садах и ужинали с профессорами университета, протестантскими священниками и членами правительства. (Многих сингальцев удивляло, что я называю родителей по именам – Додд и Ханна; некоторые интересовались, настоящий я сын или приемный.) Эти уикенды в городе были жаркими и утомительными, и родители всегда радовались возвращению в дом, где можно было переодеться в удобные вещи.

Как-то раз, в воскресенье, незадолго до их отъезда в Америку, мы решили посетить скачки в Гинтоте, где Ханна хотела посмотреть ботанический сад. Я забронировал номера в «Нью-Ориентал» в Галле, и там перед отъездом мы пообедали.

Как обычно, началось все с задержкой. В любом случае, самым интересным были зрители. От множества женщин в сари из переливчатого шелка Ханна пришла в полный восторг. Сами скачки нас, скорее, разочаровали. Когда мы уходили, Додд сказал с облегчением:

– Хорошо бы вернуться в отель и отдохнуть.

– Но мы идем в ботанический сад, – напомнила ему Ханна. – Я хочу посмотреть хоть немножко.

Додда это не воодушевило:

– Наверняка он огромный.

– Зайдем на минутку и сразу выйдем, – пообещала она.

Машина, которую мы взяли напрокат, подвезла нас ко входу. Додд устал, ему было трудно ходить.

– В этом году я заметил, что мои ноги не всегда делают то, чего я от них хочу, – объяснил он.

– Вы идите потихоньку, – велела нам Ханна. – А я пробегусь вперед и посмотрю, есть ли там что-то интересное.

Мы остановились взглянуть на гвоздичное дерево; его мощный аромат наполнял воздух, точно газ. Когда повернулись и двинулись дальше, Ханны уже не было видно. Мы вступили под заросли, свернули по дорожке, но ее и след простыл.

– Что это взбрело в голову твоей матери? Так и знал, что она потеряется.

– Наверное, где-то впереди.

Вскоре, в другом конце короткого прохода, над которым свисали переплетенные лианы, мы увидели ее за спиной размахивающего руками сингальца.

– Что там происходит? – Додд ускорил шаг. – Беги туда, – велел он мне. Я быстро направился вперед, но, увидев воодушевленную улыбку Ханны, замедлил шаг. Они с молодым человеком стояли перед хитросплетением бурых паучьих орхидей.

– Ой, я решил, что ты потерялась, – сказал я.

– Посмотри на орхидеи. Правда, потрясающие?

Подошел Додд, кивнул молодому человеку и взглянул на цветник.

– По мне так похожи на скунсову капусту.

Юноша дико расхохотался. Додд уставился на него.

– Этот молодой человек рассказывает мне историю сада, – поспешно сообщила Ханна. – Как его не хотели сажать и все-таки посадили. Это интересно.

Сингалец торжествующе ухмыльнулся. Он был в белых фланелевых брюках и малиновом блейзере, а его прилизанные черные волосы отливали на солнце металлической синевой.

Обычно я стараюсь отделаться от посторонних, которые пытаются завязать со мной разговор. На этот раз было поздно: Ханна поощрила незнакомца, и он двинулся за ней обратно к главной дорожке. Мы с Доддом переглянулись, пожали плечами и последовали за ними.

Где-то в конце садов под высокими саманеями стоял павильон. На его веранде несколько одетых

в саронги мужчин возлежали в шезлонгах. Молодой человек остановился.

– Приглашаю вас на холодное имбирное пиво.

– Ах,– неуверенно произнесла Ханна. – Да, конечно. Это было бы мило. Мне хочется присесть.

Додд взглянул на часы:

– От пива я, пожалуй, откажусь, но посижу с тобой.

Мы сели и стали смотреть на пышную зелень. Молодой человек, не умолкая, перескакивал с одного предмета на другой; казалось, он не мог продолжить ни одну мысль дальше отправной точки. Я счел это дурным знаком и попытался по интонациям Ханны определить, раздражает ли он ее так же.

Додд не слушал. Жара цейлонских низин угнетала его, и ясно было, что он устал. Полагая, что мне удастся перекрыть болтовню молодого человека, я повернулся к Додду и стал говорить обо всем, что приходило в голову: о возрождении мастерства изготовления масок в Амбалангоде, демонических танцах, высоком уровне преступности среди рыбаков, обращенных в католицизм. Додд слушал, не отвечая, лишь изредка кивал.

Внезапно я услышал, как молодой человек говорит Ханне:

– У меня для вас есть прекрасный дом. Настоящее чудо, идеально вам подходит. Очень тихий и безопасный.

Она засмеялась:

– Господи, нет! Мы не ищем дом. Мы здесь всего на несколько недель.

Я мрачно на нее посмотрел, надеясь, что она воспримет мой взгляд, как предупреждение, что не стоит упоминать, где она остановилась. Но молодой человек все равно не обращал внимания.

– Хорошо, хорошо. Вы не покупаете дома. Но вы должны посмотреть этот и рассказать друзьям. Великолепное капиталовложение, спору нет. Позвольте, я представлюсь? Джастус Гонзаг, для друзей – Санни.

Его улыбка, которая вовсе не была улыбкой, показалась мне неприятной.

– Пойдемте же. Тут всего пять минут. – Он испытующе взглянул на Ханну. – Хочу подарить вам сборник стихов. Моих собственных. Я напишу на нем ваше имя. От этого я буду очень счастлив.

– Ох,– сказала Ханна, и в ее голосе проскользнул испуг. Затем она взяла себя в руки и улыбнулась. – Это очень мило. Но только на минутку.

Наступила тишина. Додд жалобно вопросил:

– А можно подъехать на машине?

– Нельзя, сэр. У нас очень узкая дорога. Машина не пройдет. Сейчас все мигом устрою. – Он позвал. Подошел официант, и молодой человек обратился к нему с длинной речью по-сингальски. Официант кивнул и вошел в павильон. – Ваш водитель сейчас подведет машину к этим воротам. Очень близко.

Это было уже слишком. Я спросил его, откуда он знает, какая машина наша.

– Все очень просто. Я видел, как вы выходили из «понтиака». Вашего шофера зовут Викрамасинге. Он с гор, надежный человек. Тут внизу люди ненадежные.

Чем больше он говорил, тем меньше мне нравился.

– Вы не местный? – спросил я.

– Нет-нет! Я из Коломбо. Тут люди – сущие негодяи. У каждого мерзавца нож за поясом, это точно.

Официант принес счет, он подписал его быстрым росчерком и поднялся.

– Ну так сходим посмотрим на дом, да?

Никто не ответил, но мы встали и нехотя двинулись к выходу. Автомобиль, который мы наняли, стоял у ворот; мистер Викрамасинге, сидевший за рулем, приветствовал нас.

Полуденная жара спала, лишь кое-где среди деревьев оставались полости застывшего воздуха.

Когда-то дорожка, по которой мы шли, годилась для запряженной волами повозки, но теперь из-за разросшихся кустов стала едва ли шире тропинки.

В конце дорожки стояли два бетонных столба, но ворот между ними не было. Мимо развалившихся конюшен мы прошли к большому особняку. Дом был полностью скрыт высокими кустами и цветущими деревьями, виднелось только одно крыло. Когда мы приблизились к дверям, молодой человек остановился и повернулся к нам, подняв палец:

– Тут совсем нет шума, правда? Только птицы.

Был час, когда птицы пробуждаются от дневного забытья. С деревьев доносился смутный щебет. Молодой человек опустил палец и повернулся к дверям.

– По утрам они поют. Сейчас нет.

– О, это дивно, – сказала Ханна.

Он провел нас по анфиладам темных комнат.

– Здесь *дхоби* стирали грязную одежду! А это кухня, видите? Цейлонский стиль. Только уголь. Мой отец отказывался от керосина и газа. Даже в Коломбо.

Мы столпились в тесном коридорчике, а молодой человек отпер дверь, вошел и затопил помещение ослепительным светом. Это была маленькая комнатка, которая казалась еще меньше из-за блестящих малиновых стен и потолка. Почти все пространство заполняла большая кровать с атласным покрывалом – таким же красным, но чуть потемнее. Вдоль стены тянулся ряд стульев.

– Садитесь, располагайтесь, – предложил нам хозяин.

Мы сели, глядя на кровать и три картинки в рамах на стене над медными прутьями изголовья: слева – девушка, в центре – наш хозяин, справа – другой молодой человек. Портреты казались паспортными снимками, увеличенными во много раз.

Ханна кашлянула. Ей было нечего сказать. В комнате терпко пахло старыми благовониями, словно в заброшенном храме. Нелепость происходящего, когда мы сидели рядком, втиснутые между стеной и кроватью, ощущалась так сильно, что на миг парализовала мою способность размышлять. Какое-то время молодой человек молчал: сидел неподвижно, глядя прямо перед собой, точно в театре.

Наконец, я решился что-то сказать. Повернулся к хозяину и спросил, спит ли он в этой комнате. Похоже, вопрос его шокировал.

– Здесь? – вскричал он, словно речь шла о чем-то немыслимом. – Нет-нет! В доме никто не живет. Никто не спит внутри. Здесь только крепкий парень, чтобы следить ночью. Простите, выйду на секунду.

Он вскочил и выбежал из комнаты. Мы слышали эхо его шагов в коридоре, потом они стихли. Откуда-то донесся гулкий звон настенных часов: от этого уютного звука кровавая каморка показалась совсем глухой и неправдоподобной.

Додд ерзал на стуле: кровать стояла слишком близко, и он не мог скрестить ноги.

– Как только он вернется, мы уйдем, – пробормотал он.

– Наверное, ищет книгу, – предположила Ханна.

Мы подождали немного. Затем я сказал:

– Слушайте, если он не вернется через две минуты, мы просто встанем и уйдем. Сами прекрасно найдем дорогу.

Ханна возразила, что это будет слишком грубо.

И снова мы застыли в тишине; Додд прикрыл глаза от блеска. Санни Гонзаг вернулся, в руках у него был стакан воды, которую он выпил, стоя в дверях. Он как-то изменился: выглядел озабоченным и тяжело дышал.

Мы медленно поднялись, Ханна по-прежнему смотрела выжидающе.

– Так что же, идем? Проходите. – Не выпуская стакана, он выключил свет, захлопнул за нами дверь, открыл другую и быстро провел нас через роскошную комнату, уставленную широкими диванами, коро-

мандельскими ширмами и бронзовыми буддами. Следуя за ним, мы могли только бегло смотреть по сторонам. Когда мы выходили наружу, он что-то повелительно крикнул в дом – вероятно, сторожу.

На этой стороне была широкая неухоженная лужайка, где несколько высоких арековых пальм медленно задыхались в тисках корней и листьев филодендрона, сжимавших их стволы. Лианы неприятно расползлись по вершинам кустарников, точно сети гигантских паутин. Я знал, что Ханна боится змей. Она не спускала глаз с земли, ступая аккуратно с одной плитки на другую, пока мы обходили дом вокруг конюшен и возвращались на дорожку.

Быстро стали спускаться сумерки. Разговаривать никому не хотелось. Мы подошли к машине, возле которой стоял мистер Викрамасинге.

– Всего наилучшего, и скажите своим друзьям, чтобы искали Санни Гонзага, когда приедут в Гинтоту. – Сначала он протянул руку Додду, потом мне, напоследок Ханне и отвернулся.

На пути к Галле родители молчали. Дорога была узкой, и слепящие огни встречных машин нервировали их. Ужиная, мы ни разу не упомянули о том, что произошло днем.

За завтраком, на веранде, продутой утренним бризом, мы почувствовали, что происшествие уже отдалилось и можно его обсудить. Ханна сказала:

– Я все время просыпалась ночью и видела эту жуткую кровать.

Додд застонал.

Я сказал, что это как смотреть телевизор без звука. Все видишь, но не понимаешь, что происходит.

– Парень был совершенно чокнутый. Это и за милю можно было распознать, – заявил Додд.

Ханна не слушала:

– Наверное, это комната служанки. Но почему он нас туда привел? Не знаю. Во всем этом есть что-то жутко депрессивное. Мне просто тошно думать об этом. И эта кровать!

– Ну так и перестань об этом думать! – сказал ей Додд. – Я вот собираюсь выбросить это из головы. – Он подождал немного. – Мне уже лучше. Ведь так делают буддисты?

Прошло еще несколько летних недель с долгими поездками на восток, в Тиссамахарану и к диким слонам в заповедник Яла. В Коломбо мы больше не ездили, пока не пришло время посадить родителей в самолет.

Пока мы ехали вдоль побережья, с юго-запада задувало муссонным ненастьем. Когда мы добрались в середине дня до Маунт-Лавинии и расположились в номерах, начался дикий ливень. Рев волн снаружи был таким сильным, что Додду пришлось закрыть окна, чтобы слышать, о чем мы говорим.

Я воспользовался поездкой в Коломбо, чтобы организовать встречу с моим адвокатом – индусом, говорившим на телугу. Мы должны были встретиться в баре отеля «Галлефейс», чуть выше на побережье. Я сказал Ханне, что вернусь к шести. Когда я выехал, дождь чуть приутих.

Влажный ветер метался по холлу «Галлефейса», но дымный воздух в баре разгоняли только вентиляторы. Войдя, я сразу узнал Уэстона из «Чартерд-Банка». Адвокат еще не подъехал, так что я встал у бара с Уэстоном и заказал виски.

– Это не вас я видел в Гинтоте на скачках месяц назад? С пожилой парой?

– Я ездил туда с родителями. Я вас не заметил.

– Я не был уверен. Вы стояли слишком далеко. Но потом я видел тех же самых людей с одним местным. Что вы думаете о Санни Гонзаге?

Я засмеялся:

– Он затащил нас в свой дом.

– Так вы знаете эту историю?

Я покачал головой.

История, которую он изложил со смаком, началась на следующий день после свадьбы Гонзага, когда тот вошел в комнату служанки и застал свою невесту в постели с другом, который был их шафером. Почему у Санни оказался с собой пистолет, неизвестно, но он убил обоих выстрелами в лицо. А затем раскромсал тела на кусочки. Как заметил Уэстон, подобные вещи – не такая уж редкость. А настоящий скандал случился из-за суда. Гонзаг провел всего несколько недель в психиатрической больнице, а затем был отпущен на свободу.

– Можете вообразить, – продолжал Уэстон, – политическую бурю. Бедняки попадают в тюрьму за горсточку риса, а богачам позволено безнаказанно убивать и все такое. В газетах до сих пор иногда об этом вспоминают.

Я думал о малиновом блейзере и ботаническом саде.

– Нет, никогда об этом не слышал, – сказал я.

– Он безумный на всю голову, но вот, пожалуйста: гуляет на свободе и делает, что захочет. Теперь единственное его занятие – затащить людей в этот дом и показать им комнату, где произошло великое событие. И чем больше народу, тем веселее, – так ему кажется.

Я заметил индуса, входящего в бар.

– Невероятно, но верю, – сказал я Уэстону.

Я повернулся к адвокату, который тут же пожаловался на духоту в баре. Мы вышли в холл и поговорили там.

Я вернулся в Маунт-Лавинию пораньше, чтобы принять ванну перед ужином. Лежа в теплой воде, я пытался представить, как отреагируют Ханна и Додд, если услышат мой рассказ. Сам я был весьма доволен, что узнал историю до конца. Но они, пожилые люди, могут огорчиться, и, возможно, этот столь неприятный в ретроспективе эпизод запятнает воспоминания об их путешествии. Отправляясь к ним в номер, чтобы отвести на ужин, я так и не решил, рассказывать или нет.

Мы постарались сесть как можно дальше от оркестра. Ханна оделась тщательнее обычного, и оба говорили воодушевленнее, чем прежде. Я понял, что они рады вернуться в Нью-Йорк. Посреди трапезы они принялись обсуждать самые замечательные моменты поездки. Упомянули Храм Зуба Будды, пару бенгальских тигрят в Дехивале, которых они гладили, но с сожалением отказались приобрести, индонезийский ужин на лужайке мистера Балтьенса, где синий скворец подскочил к Ханне и крикнул: «Доедай», и кобру под диваном во время чаепития у миссис де Сильвы.

– И любопытный молодой человек в этом *странном* доме, – задумчиво добавила Ханна.

– Это ты о ком? – Додд нахмурился, пытаясь вспомнить. И тут же сообразил. – О боже, – пробормотал он. – Твой особый друг. – Он повернулся ко мне. – Умеет же твоя мама их подбирать.

Снаружи ревел океан. Ханна задумалась.

– Знаю, на что это было похоже! – внезапно воскликнула она. – Это словно *бхикку* провел тебя по храму. Так ведь их называют?

Додд фыркнул:

– Ничего себе храм! – и рассмеялся.

– Нет, я серьезно. Эта комната что-то значила для него. Это было нечто вроде святилища.

Я посмотрел на нее. Она постигла суть, не нуждаясь в подробностях.

– Я тоже это почувствовал, – сказал я. – Конечно, правду узнать невозможно.

Она улыбнулась:

– Разумеется: чего не знаешь, о том не тревожишься.

Я сотню раз слышал, как Ханна произносит это выражение, но не понимал, что она хочет сказать, поскольку оно казалось исключительно неверным. Но тут оно было к месту. Я кивнул и сказал:

– Так и есть.

1983

Массачусетс, 1932 г.

только яблочной чуточку мяты немножко лимончика нет ничего лучше в жаркий день хотите еще льда вот мне со льдом пить не нравится да и мороженое не люблю смешно я совсем малявкой был так мне дали попробовать я сразу и выплюнул говорю во рту жгет ага это гром все правильно я так и думал что нас дождичком накроет у нас тут ливни дай боже по долине скатываются господи как под бомбежкой сидишь и думаешь куда в следующий раз дерябнет вон в тот амбар два раза попадало один раз пару лет назад но ничего выстоял а другой раз ох лет пятнадцать тому так больше половины выгорело лошадок-то вывести успели тогда у меня лошади были то случилось как раз когда семье свезло у нас тут потрясные бывают лучше в августе приезжать тогда хуже некуда жена моя первая жена то есть бывало как гром услышит вся аж белеет и трясется как лист вся на куски разваливается ничего с нею поделать не мог громоотводы ей пшик я ей бывало говорю Сьюзан если даже в дом попадет тебе ничего не будет так если баба нервничает она ж ничего слушать не хочет талдычит одно и то же ага в этом самом доме я и родился всю жизнь здесь прожил только раньше он другой был это моя вторая жена притащила сюда всю эту мебель невместная какая-то в таком старом доме да сам дом вполне себе древний тыща семьсот девяносто шестого вон цифирки видите на приступочке выбиты спереди во всех таких старых

домах комнатенки крохотные нету места для здоровенных стульев и столов я ей говорю рояль твой тут только в кухню и влезет но вот поди ж ты полкомнаты занимает вот так шарахнуло к нам идет даже не сомневайтесь на небо только гляньте вон там над холмом черная как сам грех божий ага так и живу тут как моя последняя женка померла даже собаки для компании не завел да мне-то что все равно никогда суеты вокруг терпеть не мог шума я не переваривaю вон радио там так я его и не включаю никогда разве что новости послушать ну как идет гладко давайте-ка я вам еще намешаю да она прямо в яблочко попадает только знаете перечную класть нельзя надо курчавую странно а вот перечная того вкуса не дает так вы стало быть объявленье мое увидали и в такую даль приехали поглядеть а глядеть-то тут нечего вот только старый дом там за ним сто сорок пять акров леса ручей приличный течет на той стороне плодовые деревья вот примерно и все чем я тут занят есть полста с лишком кордов дров в сарае сложены на холода жалко что часиком раньше не приехали могли б в лесок сходить я ж так понимаю вам все осмотреть охота так можно пока тут походить поближе к дому чуете как дождем пахнет берите стакан с собой это ничего вон те четыре клена ровно такие же были когда я был мелкий помню дед мне говорил что сам не помнит тех времен когда бы их тут не было два оконца наверху ну это две спальни и еще мансарда там вот начинается сейчас припустит так припустит хорошо что хоть не вымокли справа комната это гостиная я ее на запоре держу сам туда не захожу никогда и без нее мне места хватает там душно пыль так в нос и лезет заходите в другую лучше да наливайте себе еще яблочной хорошо что вам нравится ну да сам гоню внизу в погребе у меня там аппаратик стоит а до меня папаша гонял хорошая штука если правильно делать господи чуть

в нас не попало должно быть где-то над фермой Хендерсонов куда-то вдарило надо окна закрыть так хлещет я каждый год делаю нет не продаю тут хлопот не оберешься гоню строго для хозяйственных нужд вот только хозяйства у меня никакого нет-нет никаких больше женитьб я два раза уже пытался и оба ничего хорошего не вышло ужасные трагедии обе все такие утонченные чувствительные у первой немножко деньжат было а вторая такая же голь как и я несколько акций «Тел-Тела» но у нее была вся эта мебель ну в общем почти через десять лет я на своей первой женился как старик мой помер и весь дом вот посюда в закладных был ей же хотелось сперва с ними разобраться поэтому я с души этот груз и снял да трагически я говорю ужасно я до этого еще не дошел примерно через годик я начинаю примечать что Сьюзан чего-то неможется как-то она вся на куски разваливается я даже не знаю нервная вся стала как ведьма и спать не спит а меня пилит днем и ночью пилит и пилит все больше ночью совсем мне спать не давала поэтому под конец я спал на диване у нас тут раньше стоял не знаю заметили или нет вон дробовик в углу гостиной я всегда его там держу на всякий пожарный чтоб под рукой был вдруг сурок в саду или белка с ними никак не присоседишься дом на куски разнесут ну в общем Сьюзан знала конечно что он там стоит да только она к нему и близко не подходила когда пыль стирала боялась его очень ну и ей все хуже и хуже наконец она просто в себе замкнулась ни слова мне не скажет да только мне-то что у меня вон новый «форд»-грузовичок я бывало что ни день в город ездил едой запасаться до него всего-то восемнадцать миль если по прямой проселками там ухабы все больше да мне-то в кабине что хоть я в основном по утрам ездил чтобы к полудню уже дома быть а в тот день выехал только после обеда часа где-то в два и до города ехал дольше обычного домой

вернулся вскоре после заката ищу где Сьюзан а ее нет нигде и тут захожу в ту комнату вон ту через коридор ну в гостиную а она там мертвая да застрелилась села на стул приклад в пол уперла вперед наклонилась сунула дуло в рот и на курок нажала кошмар к чему вам все это слушать и чего я только завел просто людей нынче немного вижу кто-нибудь заходит ну я и давай болтать вам еще налить даже по маленькой не хотите вы правы в голову шибает крепко ну вы ж не возражаете если я за собой поухаживаю мне ехать никуда не надо ну в общем ужас весь этот меня едва не доконал после похорон я поехал в Нью-Йорк по театрам походил господи да останься я тут я б совсем с ума спятил там я и с Лорой познакомился в тот год мы с нею нечасто видались а на следующий я опять в Нью-Йорк поехал и мы с ней уже встречаться стали а поженились только еще через год домик мой ей сильно приглянулся она в таком давно хотела жить старые столы и стулья мы выкинули все равно рухлядь и она все свои пожитки сюда перевезла Лора она такая нежная была чувствительная любила чтоб все по-ейному и по лесам гулять любила мы с нею бывало часами гуляли по крайней мере в первый год да и художествами своими занималась мольберт поставит в саду и рисует деревья она не рисовала никаких картинок ей просто нравилось деревья писать в мансарде их целая кипа весело с ней мы ходили бывало по ягоду на Ястребиную гору наделаем бутербродов и на целый день туда уж и не знаю сколько кварт ягоды с собой приносили волокли вдвоем на себе еле-еле ну вот слабнет немножко по долине спускается но все равно льет хоть беда-то и по моей вине случилась надо было рассказать ей про Сьюзан в смысле как она умерла надо было с самого начала ей взять и рассказать мог бы и догадаться что все равно прознает как-

то сами же знаете бабы языкастые и вот пристала ко мне с расспросами и почему это я ей с самого начала не сказал а заставил чужих людей слушать все выспрашивала как это Сьюзан удалось до курка дотянуться коли ствол такой длинный я ей говорю сама возьми да попробуй а ей взбрело что я от нее что-то скрываю ну и довела себя до того что лишь об этом и могла говорить все время скажет бывало ох я как о Сьюзан подумаю мне так грустно каково же ей было и как она могла так с собою поступить я ей говорю да бога ради ты ж ее в жизни никогда не видела как ты можешь о ней думать потому-то я и не хотел тебе рассказывать я же знал что ты это так близко к сердцу примешь ну и совсем немного погодя гляжу а мы уже с нею не так ладим как прежде она меня конечно не пилит но язвит да и сама там себе что-то думает поздно уже я себе говорю так надо хоть как-то жить дальше ну а жить дальше можно только одним способом из дому сбегать как только она на пианино играть начинает ну все кончилось я сейчас окна открою тут совсем дышать нечем вы точно больше не хотите а я вот себе еще налью надеюсь вы не против я когда один много-то не пью не нравится мне никакой с этого радости чего пить если правильно поговорить не с кем а еще хуже пить с тем кто сам не пьет и тебе не дает Лора-то пить не могла говорила у нее с этого голова болит потому на меня и ополчалась когда я прикладывался даже хотела чтоб я аппаратик свой выкинул говорила что ей нервно от того что там внизу стоит вот я и прикладывался помаленьку в сарае знаете как плохо когда человек не может делать того что хочет в своем собственном доме мы иногда совсем ужасно друг другу на нервы действовали и она все больше и больше на пианино играла что за музыка господи да не знаю я но всегда громкая я ни разу не оставался послушать

из дому выбегал она колотила по клавишам днями напролет я с таким мирился пока однажды не говорю послушай нам нужно договориться насчет этого пианино прямо сейчас мне кажется часа утром и часа днем кому угодно хватит и христом-богом тебе клянусь больше ты ни ноты не сыграешь я буду время засекать и если не прекратишь я приду и самолично силой тебя оттуда вытащу слышишь ну ей это конечно не понравилось и после она уже вообще не играла говорила я ей все удовольствие от игры испортил понимаете это у нее просто тот нервный срыв начался нос себе отрезать чтобы зеркалу досадить но мне она это в упрек до самого конца ставила я даже время от времени пытался заставить ее играть только она не хотела даже в комнату эту больше не заходила только сидела на кухне у большого окна да в облаках витала я в то время не знал да только у нее должно быть никак Сьюзан из головы не шла все время думаю даже если б я ей сам сказал а не соседи она бы все равно сделала то что сделала как-то утром я в поле мотыжил сорняки и услышал странный звук от дома ей-богу говорю себе она с этим дробовиком балуется и побежал ну в общем нашел я ее в гостиной она с собой покончила так же как и Сьюзан обе я просто глазам своим не поверил я просто не поверил так не бывает в смысле два раза в точности так же ну никак в общем ужас я потом у дока Снайдера спросил не думает ли он что это я виноват когда помешал ей на пианино играть а он говорит нет она меланхоличка и все равно бы так поступила поэтому нечего мне себя корить но я все равно корил а он мне говорит Калеб когда такой женщине как твоя жена что-нибудь в голову взбредает ты лучше сдавайся ты оттуда блажь эту никак не вынешь Лоре он не помогал все шутки с ней шутил а она только кивала док говорит он не очень удивился тому как она поступила он

как бы ожидал чего-нибудь плохого ну что славно с вами было поболтать приезжайте еще если посмотреть тут все захотите при хорошей погоде буду вам в любое время рад очень приятно на дороге полегче все равно дотемна не вернетесь

Нью-Йорк, 1965 г.

ошеломляющее достижение Кэтлин Эндрюс удалось выковать язык способный вознести ее к высочайшим пределам лирической выразительности в стихах воспарить над стратосферой что за идиотские рецензии пишут знаете маменька ее была довольно влиятельна она к тому же очень богата поэтому я б не удивилась если бы тут под столом рука руку мыла издатели и критики тоже ведь люди нет боюсь меня не убеждает я читала ее стихи видите ли мы учились вместе в «Саре Лоуренс» я ее хорошо знала да она и не из тех кого легко забыть с нею всегда было трудно стихи писала даже тогда и печатала их налево и направо на многих производило впечатление может и впрямь у нее какой-никакой талант имелся но как же бездарно она его растратила она могла бы служить классическим примером того как гробить собственную жизнь чистое саморазрушение в колледже она всегда прямо из кожи вон лезла чтобы выдать что-нибудь эдакое с чем никто никогда не согласится а она поясняла я говорит за то чтобы подвергнуть мир шоковой терапии то что ему надо людям больше всего на свете нравится когда их скандализуют да может оно и так Кэтлин говорила я ей бывало но неужели ты не видишь всякий раз когда ты их шокируешь пропасть между ними и тобой расходится еще чуточку неужели не видишь что в конце ни к каким твоим словам просто не будут относиться всерьез станешь просто какой-то уродкой в их глазах

ты об этом подумала я с нею постоянно спорила едва ли не умоляла знаете как бывает когда видишь что твоя подруга делает все не так я ее всерьез воспринимала думала смогу ей помочь а она в ответ только о ну если хотят думать будто я уродка то какая тогда разница ну что такое ребячество в то время наверное было нормальным но впоследствии развлекало уже не так сильно как бы то ни было насколько я понимала мужчины ее не интересовали она слишком уж сильно думала о себе хоть и говорила будто ей хочется пережить опыт рожденья ребенка но замуж ни-ни я ей говорила подумай дважды перед тем как такие глупости творить вообще-то она забеременела в первый же год после выпуска только мне ничего не сказала я же была у нее одной из старейших подруг которые с нею по-прежнему виделись она все равно просто заперлась в четырех стенах как только узнала что беременна по-моему начала вести долгие беседы с зародышем было у нее такое странное представление что она сможет на него как-то повлиять с ним все время разговаривая Кэтлин говорила я ей вернись на землю нельзя так дальше жить будь же серьезнее ребенок не идея не стихотворение он настоящий и тебе придется о нем заботиться да это ничего отвечала она у меня есть деньги на счету должно хватить да я не об этом отвечала я ей ты станешь матерью настоящей из плоти и крови а ты знаешь что это значит что тебе придется делать ох ну разумеется я выясню что это значит когда время придет и я тогда подумала выяснишь как миленькая и бедный ее ребенок но она упрямая была ей приходила в голову мысль которая ей нравилась и она в нее вцеплялась мертвой хваткой хоть трава не расти слушать ничего не желала улыбалась просто эдак свысока и говорила моя жизнь это моя жизнь как хочу так с ней и поступаю да отвечала я но есть и жизнь твоего ребенка с нею ты не вольна поступать как

знаешь подумай о ней и бога ради попробуй все же разобраться это не игра Кэтлин знаете она стыдилась своей беременности не хотела чтобы ее видели вообще отказывалась на улицу выходить просто спряталась в своей квартирке в Виллидж и так один месяц за другим раз в две недели или около того я ее навещала потому что мы были очень близкими подругами а практически всем остальным осточертели эти ее выкрутасы но я наверное воображала будто могу призвать к ее здравому смыслу мы же всегда думаем будто можем помочь даже если вроде бы должны соображать было бы грустно если б не было так смешно помню той зимой случилась метель и я однажды пешком прошла от Грамерси-парка до Бэнк-стрит поэтому когда до нее добралась едва вся не обморозилась и ноги промокли а у дамочки нашей весь свет выключен она лежит в постели только одна свечка горит на тумбочке у кровати и книжка в руках но сразу вскочила свет зажгла ей где-то месяц оставался я села у камина ноги согреть а она заварила чай ну в общем говорила она вполне здраво вроде но затем снова забралась в постель и говорит извини мне нужно закончить еще минутку ладно я Алариху читаю «Беседы и суждения» Конфуция изумительное имя правда именно такого от нее и ждешь последние полторы тысячи лет никто называл младенцев Аларихами просто обожаю и потом дорогая моя она принялась читать вслух поглядывая на себя учитель сказал то да учитель сказал сё нелепо настолько что у меня мурашки по спине поползли но не могла же я ее перебить голос у нее звучал так загробно поэтому я лишь сидела и пальцами на ногах шевелила перед огнем чуть погодя она закрыла книгу и заговорила уже обычным голосом видишь пока он еще со мной я хочу быть к нему как можно ближе потому что когда родится я уже больше ничего поделать не смогу она все это произнесла так разумно

что я вдруг разозлилась Кэтлин говорю пора бы тебе уже понять что меня так просто не шокировать у меня к тебе устойчивость скажи мне что ты пытаешься доказать а она просто глаза распахнула пошире и говорит я не понимаю о чем ты ну говорю я во-первых отчего ты так уверена что непременно будет мальчик ох ну конечно же это мальчик я так с самого начала решила дело в том что я хочу дать ему хорошее внутриутробное образование чтобы после родов на него не действовало столько внешних дурных влияний это самое важное в воспитании ребенка но большинство матерей не ощущают близости к своим детям пока их нельзя пощупать человеческая глупость как обычно и она пустилась мне рассказывать что у всех остальных не так послушай говорю я мне кажется тебе не приходило в голову что с таким же успехом ты могла бы читать вот этой тумбочке тебе чертовски хорошо известно он даже еще не слышит тем паче не понимает что ты ему говоришь зачем эти игры с самою собой неужели ты не можешь просто расслабиться и немножко побыть естественной о говорит она ну разумеется он все понимает как может быть иначе если мы с ним один человек я знаю как только он родится он не будет ничего понимать я в конце концов не в сказочной стране живу поэтому видишь мне с ним и надо быть все время пока срок не пришел потому что едва он меня покинет он будет сам по себе и я для него больше ничего не смогу сделать должно быть лицо меня выдало потому что она как-то вдруг вся распрямилась и говорит извини ты так близко к сердцу все это принимаешь я знаю большинство уверено будто их долг навязывать другим свои представления а я всегда считала тебя терпимее и смотрит на меня так словно я ее очень разочаровала ну что Кэтлин я могу только одно сказать надеюсь ребеночек здоров у меня такое чувство что когда придется за ним ухаживать ты на

многое взглянешь иначе и мы потом еще немного поговорили я ей сказала что мы с Джеком едем в Рио и я к ней загляну когда мы вернемся так что пусть не волнуется волноваться говорит она о чем мне волноваться я же счастлива поэтому я снова вышла в метель и поймала такси домой а по дороге все думала лучше б вообще не приходила боже мой не в сказочной стране живу ну да и еще я тогда подумала что не буду больше к ней ходить когда вернусь дело тут гиблое и нисколько в решении этом не сомневалась но вы же меня знаете любопытство до добра не доводит о да на следующее лето я опять ее разыскала ребеночку уже месяцев пять совершенно здоровенький на вид хоть я и заметила что он ни разу не улыбнулся а задело меня как бесцеремонно она с ним обращалась когда мне его показала вот он говорит маленький поганец и я еще подумала ну вот начинается то же самое но в кои-то веки реагировать я никак не стану какой миленький говорю ты его сама кормишь да отвечает но как только от груди отниму отвезу его к матери в Лейк-Форест она ему найдет хорошую няньку она сказала что не хочет никак его ни воспитывать ни дисциплинировать потому что это нарушит их отношения а ему очень важно быть в ней уверенным и снова пустилась во всю эту белиберду чем дальше тем возмутительней мне и раньше-то следовало понять что горбатого могила исправит но мне почему-то казалось что от рождения ребенка она как-то может измениться конечно больше ошибаться я не могла что выросло то выросло и ребенок тут уже ни при чем дело сделано я подумала ну что ж ему по крайней мере лучше будет с хорошей нянькой чем в заботливых руках Кэтлин посмотрев на все это я аж преисполнилась благодарности что у нас с Джеком никаких детей никогда не было и вот она поехала к матери но самое невероятное случилось несколько лет спустя к тому времени я уже более-

менее выбросила ее из головы хоть время от времени и закрадывалась мысль что с нею сталось в общем однажды получаю я письмо от Кэтлин все оклеенное марокканскими марками она уехала от матери и отправилась с Аларихом в Европу мать оплатила дорогу наверное чтоб только от нее избавиться она жила то там то тут и оказалась в Танжере но была б разумеется не Кэтлин если б не поселилась в квартале местных и Аларих учился жизни вместе со своими ровесниками играл в переулках с соседскими мальчишками и она считала что это замечательно и ей хотелось остаться там навсегда и она надеется что я как-нибудь заеду в Танжер все это звучало подозрительно словно продолжение тех же наших старых разговоров как бы там ни было где-то год спустя когда мы с Джеком были в Европе я решила слетать в Танжер на выходные и посмотреть как там Кэтлин я была заинтригована нестарая американка живет одна в местном квартале в общем Джек никуда лететь не захотел остался в Лондоне а я махнула в Марокко даже описать вам не могу как это было несколько часов пыталась отыскать ее дом в конце концов пришлось вернуться в отель раздобыть себе проводника и мы отправились по этим темным переулкам и наконец подошли к двери распахнутой прямо на улицу я велела проводнику подождать снаружи сама бы до отеля я ни за что не добралась а внутри она и сидела в каком-то ярком костюме как у аборигенов в комнате никакой мебели только циновки подушки да посередине большой стол и вот вам за труды на столе громоздилась огромнейшая куча просто гора марихуаны я ее увидела еще с улицы не заходя в дом даже не зная толком что это такое Кэтлин говорю это же запрещено ты сама это знаешь как ты можешь оставлять такое на виду любой прохожий увидит ее наверняка заметил мой проводник я там сидела вся на нервах ты не могла

бы пожалуйста хоть дверь закрыть она пожала плечами пошла и закрыла я спросила где Аларих мне было любопытно какой он вырос а она как-то смутилась ох да снаружи где-то у него тут много друзей и я сразу же подумала о тех жутких мальчишках что играли на улице когда мы сюда шли всякий раз когда мы примечали толпу таких детей проводник говорил мне мадам держите крепче сумочку это мило что у него есть друзья сказала я а ты как у тебя дела я все думала как она может так жить вонь там стояла как в конюшне она принялась расхаживать взад-вперед с очень деловым видом и в какой-то миг остановилась и уставилась на стол эта дрянь не моя говорит она а Тодда Тодд у меня живет он в магазин пошел скоро вернется о понимаю говорю я и вскоре заходит этот Тодд шести с лишним футов ростом и черный как вакса это интересно подумала я Кэтлин открывается с новой стороны признаю не слишком оригинальной но все ж кое-что иное по сравнению с прежним и вот я там сижу пытаюсь беседу поддерживать с ними обоими как вдруг в соседней комнате раздается какой-то кошмарный звериный клекот и никак не смолкает боже что это спрашиваю я у нее а она так буднично это просто наш барашек мы его уже месяц тут откармливаем к празднику на следующей неделе Аларих его просто обожает буквально живет ради него от этого барашка его не оторвать но в доме же говорю я как вы это терпите в общем мальчик наконец вернулся и с ним целая компания других мальчишек все лопочут по-арабски должно быть но по крайней мере выглядел здоровеньким под слоем грязи а замурзанный он был как и все остальные и целый год наверное не стригся невероятно они все заходят и бросаются в ту комнату где барашек привязан и тут он начал так ужасно блеять что я решила мне самое время исчезнуть говорю мне пора меня проводник ждет но еще раз приду завтра Кэтлин на меня посмотрела так словно конец света настал и давай твердить но ты же только зашла тут все дети выбежали из дома кроме Алариха тот залез на колени к Тодду и стал его обнимать ребенок этот просто изголодался по нежности я ему говорю Аларих как хорошо что у тебя есть барашек он может быть твоим другом и ходить за тобой повсюду а ребенок этот смотрит прямо на меня и говорит ой нет мы ему глотку во вторник перережем я решила что он выдумывает но Кэтлин подтвердила да во вторник жертвенный день и когда я уже выходила она сказала что пишет много стихов а я подумала ну еще бы и слава богу не нужно их читать до свиданья говорю до завтра и я в самом деле собиралась вернуться и попробовать с нею поговорить с глазу на глаз но там все было так жутко так мерзко а она так по-детски себя вела что меня взяла тоска я даже подумать не могла о том что вновь придется искать этот переулок на следующее утро я села в лондонский самолет и с тех пор больше о ней ничего не слышала какая жалость думаю она даже отчета себе не отдает что с собою сделала наверное я становлюсь нетерпимее но у меня не хватает терпенья на людей которые отказываются соблюдать правила игры и этот ее мальчик я просто спорить готова он окажется в конце концов за решеткой это неизбежно но кого ей винить она сама во всем виновата а самое печальное что она никогда не поймет сколько вреда она принесла ей даже в голову не придет что вся жизнь ее была сплошной ошибкой с самого начала довольно нелепо не так ли

Танжер, 1975 г.

впервые я с ней познакомилась когда она купила большую виллу над самой долиной та теперь у саудовцев хорошая недвижимость нынче по большей части у них помню она пригласила нас с Антоном на чай женаты мы тогда были не очень долго и казалось он ее сильно интересует видела много лет назад как он танцует в Париже еще до несчастного случая и они вспоминали о тех днях все было весьма учтиво у нее были очень вкусные птифуры странно что мне они так четко запомнились конечно в то время не стоит забывать мы были ужасно бедные питались самым дешевым к счастью Антон изумительно готовил иначе мы бы умерли с голоду а он умел приготовить из ничего можете мне поверить в общем и двух недель не прошло как она пригласила нас на обед кошмарно помпезный масса официантов все идеально а после я помню мы пили кофе с ликерами у камина и она вдруг нам предложила тот домик у себя на участке там повсюду были разбросаны маленькие коттеджи знаете такие для гостей но большинство поближе к главному дому а этот в роще рядом только утиный пруд меня совершенно это ошеломило чего-чего а такого я от нее не ожидала и потом она повела нас его смотреть простенький но обставлен с очаровательным вкусом и довольно примитивные кухня и ванная но снаружи весь просто зарос цветами а из окон такие виды что нас конечно сразу заворожило понимаете платить ничего не надо нам просто отдавали дом в пользованье на сколько захотим признаю с ее стороны это очень щедро хотя в то время я и подозревала что она положила на Антона глаз но я вообще-то ошибалась как бы там ни было свой дом много для нас значил дар богов просто имелся правда один недостаток для меня Антону-то они были вроде без разницы но в рощице неподалеку в огромном вольере жило по меньшей мере двадцать павлинов и по ночам они иногда орали знаете от криков их волосы дыбом встают особенно посреди ночи я много недель привыкнуть не могла лежу в темноте слушаю их безумные вопли в конце концов научилась не просыпаться ну в общем после того как мы въехали хозяйка наша к нам и близко не подходила ее право само собой но все равно как-то странно по крайней мере за Антоном не ухлестывает шли месяцы мы ее в глаза не видели понимаете а ключ от ворот в дальнем конце поместья у нас был мы всегда уходили и приходили нижней дорогой гораздо проще чем лезть в гору мимо большого дома поэтому конечно чтобы мы ее увидели ей пришлось бы спуститься на нашу часть территории но она и близко к нам не подходила время шло а потом вдруг из разных мест до нас стали доходить странные слухи что поминая нас она всякий раз зовет нас своими скваттерами я уж совсем решилась подняться и в лицо ей все высказать мол чего ж ты сама нас приглашала чтоб везде нас высмеивать что ли но Антон сказал что доказательств у меня нет может просто злонамеренные сплетни тут от них никуда не деться подожди сказал он пока своими ушами не услышишь ну так она же не вряд ли станет мне такое в лицо говорить и вот однажды утром я пошла прогуляться в рощу и что же вижу вдоль тропинок несколько табличек краска на них свежая и на всех говорится DEFENSE DE TOUCHER AUX FLEURS* очевидно ради нас их тут и поставили ведь никто другой

* Трогать цветы воспрещается (*фр.*).

тут не ходит чудны́е правда же у людей мозги не нужны нам вовсе ее чертовы цветы мы и не трогали их никогда срезанные мне не нравятся я предпочитаю смотреть как они растут Антон говорит не обращай внимания так лучше будет если мы поругаемся она нас выставит и он был конечно прав но все равно очень трудно с этим было смириться как бы то ни было знаете у нее всегда любовники были само собой из местных чего тут ожидать да все в порядке я ж не такая узколобая чтобы ставить ей в упрек эти сомнительные наслаждения но тут можно так а можно и сяк от женщины ее возраста и воспитания ожидаешь хоть какого-то благоразумия то есть постаралась бы проворачивать все как можно незаметнее а вот нет никак во-первых она пускала их всех к себе жить словно они муж и жена а они оттого получали возможность помыкать слугами что неслыханно но мало того она буквально похвалялась этими своими жалкими любовничками перед всем городом никогда без текущего своего хахаля и не выходила никуда если в гости не звали его она отклоняла приглашение такая вот женщина даже представить трудно что ей когда-либо бывает совестно однако тут ей удавалось жить так что европейцы ее не чурались знаете в те времена люди к такому всерьез относились местные даже в ресторан не могли зайти дело даже не в том что у нее любовники были или что любовники эти из местных но в том что появлялась она с ними прилюдно вот что было европейской колонии как пощечина и колония такого не прощала а она и в ус не дула что там прочие подумать могут я-то вот к чему все это веду к вечеринке ее мы и близко не видали месяц за месяцем шел понимаете как вдруг заявляется дружелюбная такая вся из себя говорит хочет попросить нас об услуге она закатывает такой огромный прием отправила двести приглашений и их надо будет у ворот сдавать говорит к ней на вечеринки всегда много незваных гостей является туристы даже гидам платят чтобы только внутрь провели а на сей раз никто не должен пробраться кроме приглашенных и вот не могли бы мы постоять в будочке которую она поставила у самых ворот там есть окошечко и прилавочек такой и Антон будет проверять приглашения и подавать знак полицейскому который разместится снаружи чтобы пропустил гостя а у меня будет такая папка со списком всех имен по алфавиту и Антон передает мне приглашение а я напротив фамилии ставлю красную галочку ей потом хочется проверить кто пришел а кто нет у меня десять слуг сказала она и ни один не может ни читать ни писать такая незадача а потом я подумала про вас и решила попросить о такой вот огромной услуге у вас в домике все в порядке вам нравится тут жить и мы конечно сказали о да все так мило мы будем рады вам помочь вот дурни же мы были много времени не займет сказала она часа два от силы будет маскарад выпивка ужин и танцы под луной в нижнем саду оркестр начинает в половине восьмого и вот когда она ушла я говорю Антону двести приглашений аж два раза да у нее и двух десятков друзей не наберется во всем городе ну вот настал тот вечер стоим мы в этой будке на посту вкалываем прямо как ку́ли китайские у меня по спине пот градом иногда вместе человек по десять подходит половина уже пьяные им вовсе не нравится ждать чтобы пропустили по одному всё подъезжают и подъезжают я думала никогда не кончатся уж полночь а мы еще там стоим наконец я говорю Антону все с меня хватит наплевать кто еще придет я тут больше и минуты не простою а он отвечает ты права и подходит к охраннику и говорит больше никто не явится не впускайте больше никого спокойной ночи и так далее

и мы идем туда где вечеринка а все костюмы такие вычурные и мы стоим в углу сада несколько минут смотрим как танцуют как вдруг к нам подходит высокий мужчина в мантии и с накладной бородой и в тюрбане я понятия не имела кто это а Антон потом утверждал что сразу его узнал в общем то был ее любовник будьте любезны она его прислала сказать что если мы хотим на вечеринку то надо сходить и надеть костюмы если у нас они есть я просто ушам не поверила заставить нас простоять в духоте в этой будке почти пять часов и тут такая адская наглость взять нас и выгнать да и никакой учтивости даже в придачу нет бы самой подойти и с нами поговорить дудки она для этого шлет своего любовника из местных я от голода просто умирала на буфетных столах еды была разложена куча только до них сотня шагов на другом конце сада когда мы в свой домик вернулись я и говорю Антону эту бабу я ненавижу я знаю что так нельзя но я ее не-на-ви-жу мало того на следующий день она снова к нам заявилась и не подумайте чтобы спасибо сказать вовсе нет наоборот пришла жаловаться что мы пропускали кого-то без приглашений что это вы мелете не выдержала я да посмотрите только на карточки и в папку все сходится о чем это вы а она говорит герцогиня де Сан-Такая-то хватилась ридикюля куда положила свои изумрудные серьги а я ей так а мы тут при чем будьте добры поясните ну а она в ответ мы дескать свой пост покинули наш пост вот как она это назвала словно мы в армии и после нашего ухода приехали еще какие-то гости и полиция их впустила Антон спросил предъявили эти люди приглашения или нет ну она отвечает я не смогла найти этого конкретного полицейского поэтому не знаю но если б вы там были такого бы не случилось дорогая моя отвечаю я вы вообще соображаете что мы в этой будке провели пять часов а вы нам сказали что больше двух это не займет надеюсь вы это осознаете ну что ж очень жаль говорит она мне пришлось вызвать полицию и тут я не выдержала и расхохоталась eh bien madame* говорю по вашим словам полиция вора и впустила так что все должно получиться очень просто не понимаю при чем здесь мы вообще тут она голос повысила мне говорит просто очень жаль что я на вас понадеялась в следующий раз буду умнее и вышла тут я и говорю Антону слушай мы не можем больше жить в доме этой женщины надо найти себе что-то другое он к тому времени уже начал что-то зарабатывать в экспортно-импортной конторе сущие гроши но за домик платить хватит а он считал что нужно за это место держаться и надеяться что все утрясется но я начала ходить сама чуть не каждый день искать куда бы нам переехать впоследствии очень пригодилось по крайней мере я посмотрела много домов и выяснила какие нам по карману понимаете вечеринка стала лишь прелюдией к той мерзости что случилась не прошло и месяца как-то ночью какое-то малолетнее хулиганье забралось в большой дом любовничек как раз уехал в Марракеш на выходные и она осталась одна да слуг спать она отправляла в хижины в верхнем саду в доме она была одна и вы же этих людей знаете они вечно убеждены будто у европейцев спрятаны огромные деньги поэтому ее пытали всю ночь чтоб она им рассказала где эти деньги ее били и жгли и душили и резали и сломали ей обе руки должно быть она кричала я уж не знаю но они ей наверное лицо подушками придавили во всяком случае никто ничего не слышал утром ее нашли горничные она была жива но днем в больнице скончалась мы об этом ничего не знали пока два дня спустя вдруг не нагрянула

* Вот здорово, мадам (*фр.*).

полиция и не сказала что весь участок опечатывается и всем нужно немедля съехать в смысле слугам садовникам и нам и вот мы со всем нашим хозяйством оказались на улице ужас какой но как Антон и говорил мы по крайней мере больше года пожили бесплатно он всегда любил видеть во всем светлую сторону а это много значит потом я узнала подробности и ужасно расстроилась потому что видите ли полиция выследила этих бандитов по золотому портсигару и другим вещам которые они украли в ту ночь когда ее мучили и тогда выяснилось что ридикюль герцогини тоже у них один бандит явился на вечеринку поздно и проскользнул внутрь с компанией испанцев после того как мы с Антоном ушли от ворот и разумеется смог осмотреть все в доме и на участке чтобы потом ограбить поэтому мне стало страшно совестно конечно я знала что не виновата ни в чем но все равно не могла не думать что если б мы там хоть ненадолго задержались она была бы сейчас живая сначала я была просто уверена что и любовничек к этому руку приложил понимаете он же от нее не отлипал она даже помыслить о таком не могла и тут вдруг ни с того ни с сего уезжает на выходные в Марракеш нет как-то уж очень своевременно слишком уж уместно но явно он там был ни при чем а кроме того в любой миг имел возможность удрать с чем угодно только никогда ничего в доме не трогал должно быть все-таки разумное существо по крайней мере знал что не стоит кусать руку которая тебя кормит вот только в конце за хорошее поведение свое ничего он так и не получил бедняжка я все пыталась припомнить ту ночь и мне иногда кажется что сквозь сон я все же слышала какие-то крики да только этих чертовых павлинов я столько наслушалась что уже не обращала внимания а теперь у меня просто кровь в жилах стынет как подумаю что я наверное и впрямь слышала как она зовет на помощь

а думала что это птицы вот только большой дом от нас так далеко что ей пришлось бы кричать из окна которое выходит в долину поэтому я все успокаиваю себя что никак не сумела бы ее услышать они ж ее к окнам не подпускали но все равно расстраиваюсь

Джулиан Вриден

Лет сорок назад нью-йоркские газеты опубликовали сообщение о семейной драме – горькой, но невыдающейся. Муж и жена средних лет тихо отпраздновали дома Новый год и вдвоем покончили с собой. Их обнаружили на полу гостиной, возле каждого лежал пустой бокал. Початая бутылка шампанского нашлась на раковине в кухне вместе с небольшой дозой цианида, который они растворили в вине и выпили в праздничный вечер. Объяснительных записок не было.

Супруги Вридены служили в нью-йоркском отделе народного образования. У них был единственный сын, Джулиан, которому еще не исполнилось двадцати: он ушел из Колумбийского университета и теперь учился в колледже во Флориде. Вероятно, у полицейских возникли подозрения с самого начала, но они решили действовать медленно. Вриден-младший получил страховку отца и тут же имел глупость появиться со своим другом Марком из Майами в фирме на Парк-авеню, торгующей иностранными автомобилями. Он заплатил первый взнос за весьма броский «астон-мартин». Молодые люди к тому времени поселились вместе в квартире, где прежде обитали старшие Вридены; оба бросили колледж и, похоже, не собирались продолжать учебу. Полицейские навестили их и без труда добились от Джулиана признания, что это именно он смешал смертоносные коктейли. Более того, он дал понять, что считает свой поступок вполне оправданным.

Его история, подтвержденная родственниками и соседями (все они при этом нисколько ему не симпатизировали), заключалась в том, что родители давно и непрерывно над ним измывались. Вместо того чтобы радоваться, что их сын проводит время за чтением, они демонстративно глумились над его литературными пристрастиями. Причина: Джулиан читал стихи. Это было непростительно. Мать частенько заглядывала в его комнату и кричала: «Ты посмотри на этого неженку с его стишками!» А отец, оглядывая его с отвращением, рычал: «Какой-то педик у нас растет, а не сын!». Эти постоянные нападки, из года в год, никак не повлияли на мальчика, разве что он дерзко увеличил число поэтических сборников, которыми заполнил свою комнату.

Переход из Колумбийского университета во флоридский колледж был благоприятен со всех точек зрения. Физическое расстояние между родителями и сыном, должно быть, смягчило нескончаемую распрю: в противном случае, его неожиданный телефонный звонок и последующий приезд накануне Нового года были бы немыслимы. Возможно, родители думали, что он изменился, и предвкушали грядущее перемирие.

Джулиан вошел в квартиру один, его друг Марк согласился подождать в коридоре, пока Джулиан не откроет ему дверь. У Джулиана была бутылка «Пайпер Хайдсика», которую он открыл на кухне и выпил с родителями, провозглашая тосты за их здоровье в наступающем году. Затем отнес их пустые бокалы в кухню и снова наполнил, на этот раз добавив цианид. Когда родители зашатались и упали на пол, он открыл дверь черного хода и впустил Марка на кухню. В этот момент Вриден-старший увидел незнакомое ухмыляющееся лицо за спиной своего сына и пробормотал единственные слова, которые Джулиан запомнил: «Боже, это еще кто?»

Когда жертвы скончались, Джулиан и Марк подтянули тела ближе друг к другу, вытерли бокалы, положили их на ковер, вымыли и спрятали третий бокал и оставили квартиру в новогодней тишине. И тут же улетели в Майами.

История не получила большой огласки: слишком много времени прошло между убийствами и приговором. Джулиана и Марка приговорили к пожизненному заключению в нью-джерсийской лечебнице для душевнобольных преступников. Преступников? Да. Душевнобольных? Вряд ли. Желание отомстить за несправедливость вряд ли можно считать признаком безумия. История Джулиана Вридена – классический и специфически американский сюжет о мести.

1985

Хью Харпер

Хью Харпер мог бы стать доктором Хью Харпером, получи он медицинское образование. Но во время учебы он утратил к ней интерес. Скорее всего, просто понял, что ему не нужны лишние деньги, которые можно получить от практики на Харли-стрит или где-нибудь еще. Он понимал, что может неплохо жить, особо себя не утруждая.

Как большинство гедонистов, Харпер был человеком эксцентричным и скрытным. В его случае скрытность не удивительна, ибо эксцентричность состояла в пристрастии к человеческой крови. Он не особо стыдился необычной склонности, ибо в ней не было сексуального оттенка: она была чисто гастрономической. С другой стороны, он не видел смысла уведомлять о своем пристрастии к вкусу крови кого-либо, помимо соседских подростков, которые регулярно продавали ее в небольших количествах. Неизбежное осложнение возникло (как он, вероятно, и предполагал), когда мать одного из парней узнала о происходящем. Она, разумеется, пришла в ярость, и возникла угроза скандала. Семья Харперов решила, что Хью должен немедленно исчезнуть.

Он стал наивно возражать, объясняя, что его занятие не запрещено законом. Его старший брат ответил, что если это и так, то лишь потому, что прецедентов такого поведения в цивилизованном обществе не было, и что он лично посадит Хью на паром в Кале сегодня же вечером. Брат сопровождал его до Дувра,

посадил на паром, с облегчением вздохнул и вернулся в Лондон. Он понимал, что у дела нет сексуальной подоплеки, но не сомневался, что негодующие сплетницы, собравшись вместе, быстро ее обнаружат.

В Поццуоли, недалеко от Неаполя, Хью Харпер снял квартиру и занялся сколачиванием кружка юных пролетарских доноров, которые вряд ли признались бы своим матерям, что сдают кровь (а их матери, в любом случае, не особо заинтересовались бы такими сведениями). Однако ему не приходило в голову, что итальянская полиция узнаёт о событиях прежде, чем те случились. По их версии, он был иностранцем, который мало того, что поставлял наркотики подросткам, но и настаивал на том, чтобы делать им уколы собственноручно. Юноши, разумеется, единодушно все отрицали, заявляя с итальянской спесью, что выполняли бессмысленные просьбы англичанина исключительно потому, что он им хорошо платил.

Ладно, наркотиков не было, признала полиция, но все равно это незаконно, поскольку у иностранца нет лицензии на медицинскую практику в Италии, а для того, чтобы один человек делал подкожные инъекции другому, вне зависимости от цели, необходим медицинский диплом.

Чтобы избежать суда и возможного тюремного заключения, Харперу пришлось расстаться с несколькими значительными суммами, после чего ему велели покинуть страну без права возвращения.

Нетрудно угадать, что следующей страной, где обосновался Харпер, стало Марокко. Он снял небольшой дом на Маршане в Танжере и установил в гостиной гигантский холодильник. Здесь, на ярко освещенных полках, стояли стаканчики с кровью: на бирках значились имя донора и дата, когда жидкость была получена. Юные марокканцы находили совершенно естественным, что у англичанина возникла нужда в дополнительной крови для поправки здоровья, поскольку общеизвестно, что английская кровь слабая и холодная. Мысль о том, что он ее хочет, потому что ему нравится вкус, была бы для них невообразима.

Похоже, наконец-то он нашел идеальное место; здесь он мог тешить свою редкостную страсть, не опасаясь вмешательства. Мало-помалу, за два года, проведенные на Маршане, пристрастие стало казаться ему вполне заурядным, словно в стаканчиках хранилось вино. Все было так просто, и никто не возражал. И тут-то его эйфория разрушила здравый смысл. Аккуратные ряды стаканчиков на полках холодильника неудержимо влекли его, и он принялся воображать, что его европейские знакомые найдут их столь же привлекательными. «Отведайте, – скажет он гостю. – Она очаровательно прохладна».

Европейцы, изрядно шокированные, были способны лишь на одно: добавить еще один роскошный скандал к своему репертуару сплетен. Зловещая необычность поведения Харпера восхищала их. «Конечно, этот человек совершенно спятил», – уверяли они друг друга в конце каждой беседы. В каком-то смысле они были правы. Будь он полностью вменяем, он бы любовался выставкой склянок и поглощал их содержимое в полном уединении, как и делал первое время в Танжере. Вместо этого он громко читал имена на бирках своим гостям: «Абдеслам, Мохаммед, Абдеррахман, Омар. Кто вас прельщает? Али?»

Ошеломленные этим, европейцы так часто судачили о странном мистере Харпере, что марокканские слуги поневоле услышали их разговоры. Таким образом *фких* Сук-эль-Бкара узнал о необычном англичанине. Он долго обдумывал это дело. Хотя кровь служила лечебным целям, он считал предосудительным, что назарей потребляет столько мусульманской крови. Он не сомневался, что где-то в Коране

порицаются подобные практики, но святое писание знал не очень хорошо и мог лишь строить догадки. Он долго советовался с имамом мечети в Драдебе, и тот заверил его, что поглощение человеческой крови возмутительно в глазах Аллаха. Нельзя допустить, чтобы христианин продолжал пить мусульманскую кровь.

Стоит исламскому духовенству принять решение, как оно воплощается с поразительной скоростью. Хью Харперу приказали покинуть Танжер в течение восьми дней. Никакого пояснения не было, да в таковом и не было нужды. Куда он отправился после того, как в Марокко его объявили персоной нон грата, – неизвестно.

1985

Неприятные слова

I

Рад, что Вы ответили на мое неожиданное письмо, хотя и жаль, что полагаете, будто я считаю Вас благодарным слушателем лишь потому, что Вы не выходите из своей комнаты. Или, быть может, Вы просто хотели пристыдить меня за то, что сам я еще на ногах?

Разумеется, цены здесь начали подниматься задолго до международного нефтяного шантажа семидесятых. Мы наблюдали за их ростом и думали: «Дальше уже некуда». Все в пять раз дороже, чем десять лет назад. С 1965 года ввоз был запрещен. Поэтому вместо импортных товаров мы получали контрабандные, за которые можно выручить столько, сколько люди готовы заплатить. (Наверное, следует помнить, что в тридцатые и сороковые цены были невероятно низкими, так что они могли подниматься чуть ли не до бесконечности, прежде чем сравнялись бы с европейскими или американскими. Потом наступила нефтяная инфляция, и они по-прежнему растут, хотя все еще остаются ниже, чем в других странах.)

Примерно пять лет спустя после обретения независимости Кристофер разговаривал где-то на юге с одним старым бербером. Посреди отвлеченной беседы старик склонился к нему и доверительно спросил:

– Скажите, сколько еще продлится эта Независимость?

Помню, как в 1947 году я послал в Нью-Йорк запрос о переводе тысячи долларов. (Если помните, в те времена этого хватало, чтобы прожить три-четыре месяца – по крайней мере, здесь.) Банк, куда их якобы перевели, ничего не получил, но мне посоветовали проверить все остальные банки города. Тогда их здесь было больше сорока. Я обходил по два-три в день: никто ничего не знал. Даже через месяц я так и не получил своих денег. В американской дипломатической миссии мне посоветовали сходить в первый банк и потребовать их, попутно намекнув, что если денег не выдадут, американский посланник примет меры. Словно по волшебству, клерк направился прямиком к шкафу с документами и достал оттуда чек. Но меня всегда мучил вопрос, какую выгоду они преследовали, так долго его удерживая? (Тогда мне это показалось очень долгим сроком, и я негодовал.) Теперь же стало еще хуже. Все иностранные деньги, поступающие в страну, сбрасываются в общий фонд в Касабланке и хранятся там, пока не будут собраны проценты с тех, кто их занимает, – обычно, месяца три. В конце концов, сумма появляется на вашем банковском счету, обмененная по самому низкому курсу на тот период. Это вполне можно понять, учитывая, что идет война, которая требует больших затрат, но неудобства от этого не уменьшаются. Вероятно, нам повезло, что мы не платим особый военный налог, но кто знает, возможно, его еще введут. С поправкой на современность.

Вы спрашиваете, что у меня нового: о моей повседневной жизни, о чем я думаю и каково мое мнение о событиях за рубежом. Всему свое время – если смогу. Но то, что происходит здесь, гораздо важнее того, о чем мы слышим из-за границы. Совершается масса преступлений, но каждый год хотя бы одно

убийство привлекает всеобщее внимание. Особый интерес вызывают жертвы-немусульмане. Это зачаровывает как мусульман, так и неверных, хотя, без сомнения, по разным причинам.

Например, два года назад, когда рабочие еще строили новую мечеть между моим домом и Пляс-де-Франс, из здания через дорогу обычно выходила одна пожилая женщина и приносила мужчинам кружки с чаем и кофе. Она появлялась рано утром, до рассвета, когда еще было прохладно, и рабочие с нетерпением ее ждали. Однажды она не пришла, и позже в тот же день выяснилось, что ее убили в постели. Кто-то сумел влезть в окно и пробраться в ее квартиру, затем безжалостно перерезал ей горло и скрылся. Убийца рассчитывал найти спрятанные деньги (поскольку женщина была еврейкой, он, естественно, предполагал, что где-нибудь их откопает). Но она жила в бедности, он не нашел ничего, кроме синего пластмассового транзистора, и забрал его. Хотя рабочим после этого никто не приносил чая или кофе, они слушали музыку по синему транзистору – правда, всего пару дней. Соседка убитой заметила транзистор посреди груд кафеля, безошибочно узнала его и рассказала об этом полицейскому на улице. Рабочего, конечно, схватили, и он сказал, что не стал бы резать горло старой еврейке, если бы знал, как она бедна!

Затем в прошлом году был случай с двумя пожилыми американцами (сомневаюсь, что Вы когда-либо их знали), которые жили в небольшом домишке высоко на Старой Горе, в самом конце проезжей дороги, где она сворачивает к остаткам древнеримской. Они были там поистине отрезаны от всего мира – ни телефона, ни другого дома поблизости. Спокойно прожили несколько десятилетий, а затем на них вдруг напали. Муж трудился в саду на опушке леса – наполнял канаву водой. Нападающие сбили

его с ног и сунули головой в канаву. Жена видела все это в окно. Затем они ворвались в дом и зверски избили ее, пытаясь выведать, где спрятаны «деньги». (Это были бедняки, сидевшие на соцобеспечении.) Денег не оказалось, поэтому, пнув женщину еще пару раз в лицо, грабители отправились восвояси. Муж погиб, а жена выжила. Это происшествие встревожило европейцев, живущих на дороге к Старой Горе: все владели крупной собственностью, которую уже охраняли ночные сторожа. Головорезы выбрали чету стариков именно потому, что те были беззащитны, и, разумеется, из этого ничего не вышло. По слухам, преступников поймали примерно два месяца спустя. Они входили в банду, обитавшую в пещере на западном берегу. Но кто знает? Европейские жители относятся к этому посерьезнее, чем к голодным бунтам или стычкам с так называемым Полисарио в Сахаре. Ломберная ментальность, если Вы простите мой выпад.

В любом случае, на этом пока все.

II

Хорошо, что мы снова на связи.

Вы ошибаетесь: я хорошо помню, когда мы виделись в последний раз. Вы жили в той развалюхе на крыше замка, и там дул жуткий ветер из гавани. У Вас обедали несколько человек, и я помню, что дверь на крышу была открыта, по квартире гулял сквозняк, и все кричали: «Закройте дверь!» В каком именно году это было, я не знаю, ведь эпизод, похоже, ни с чем не связан. Припоминаю лишь еще одну подробность: Ваше замечание о том, что Вы не можете читать ничего из написанного после восемнадцатого столетия. Я воспринял это как личную причуду. С тех пор я думал об этом, задаваясь вопросом, насколько плодотворно подобное самоограничение для писателя двадцатого века. Вы больше не читаете современную литературу, дабы избежать ее возможного пагубного влияния, или же Вам претит любой контакт с нынешней словесностью, поскольку он подразумевает идею соревнования? Разумеется, причины, по которым Вы отказываетесь от девятнадцатого века, в любом случае остаются для меня непонятными. Хотя в музыке я легко подписался бы под аналогичным огульным утверждением, предав забвению всю музыку девятнадцатого столетия. Но, мне кажется, такого рода обобщения всегда бесплодны, и мне интересно, строго ли Вы придерживаетесь своего девиза?

Прошедшие лет пятнадцать я порой не знал точно, где Вы находитесь. От других слышал, что Вы жили в Гонконге, Токио и даже Малайзии. (Там есть город, который Вам якобы нравился, но я не помню его названия. На восточном побережье – довольно далеко на север.) Отвыкнув писать мне, Вы уже не знали, куда писать, понимаю. Это оправдание в еще большей степени применимо ко мне, поскольку у Вас не было постоянного места жительства, а вот я всегда имел свою базу.

Излишне спрашивать, помните ли Вы Бетти и Алека Хау, ведь они были Вашими партнерами по бриджу и канасте наряду со всеми другими обитателями, знакомства с которыми я избегал годами. Оба умерли дней десять назад: кто бы мог подумать? Он – первым, а она – пару дней спустя. Смина убеждена, что Бетти покончила с собой, решив не дожидаться похорон Алека. Возможно, она права: я встречался с четой Хау только на приемах да на рынке. Подозреваю, Вы не станете оплакивать их кончину.

Ну и, конечно, потрясающая Валеска. Она приезжала сюда несколько раз после Вас, но последние лет пять ее не было. Абдельвахид сильно ее невзлюбил, особенно потому, что она упорно отказывалась

садиться на переднее сиденье «мустанга», хотя это единственное удобное пассажирское сиденье в машине. Его крайне раздражало, что она упрямо ездила сзади, поскольку он полагал (вероятно, вполне справедливо), что ей хотелось показать всем: он – всегонавсего шофер. Из-за этой основной антипатии он охотно критиковал и другие стороны ее поведения. Однажды воспользовался случаем и взбрыкнул. Все кончилось таким безумием, что я даже не сумел отругать его, как следует.

В те дни, когда я заезжал за Валеской в отель, она всегда сидела за столиком во дворе и читала, решала кроссворд или делала что-нибудь еще с очень занятым видом. Абдельвахид подкатывал прямо к верхней площадке лестницы, так что она не могла нас не видеть и всегда вскидывала голову – значит, наверняка замечала. Но по какой-то непостижимой причине не двигалась с места, пока я не выходил из машины, не спускался в сад, не пересекал его и не останавливался в футе от столика. То был священный обряд. Однажды я остался дома и послал за ней Абдельвахида. Увидев, как он спускается в сад, она вскочила и пошла за ним к машине, непрестанно спрашивая:

– Где Пол? Где Пол?

В этот момент шайтан, очевидно, попутал Абдельвахида – он потупился и грустно сказал:

– Пол умер.

Можете представить себе, какой визг и верезг поднялся после этого сообщения. Он усадил ее в машину, и они отправились в Итесу. Как Вам известно, Абдельвахид не говорит по-английски, но он знал достаточно слов, чтобы передать ей: я лежу на полу, а люди стоят и смотрят на меня.

Он рассказал мне, что когда они доехали до Плаза-дель-Кувейт, Валеска вдруг вскрикнула:

– О господи! Камеру в отеле забыла. Ничего страшного. Поезжайте.

Когда она увидела меня живым и здоровым, у нее буквально началась истерика, а я подумал: «Это уж слишком», и представил, как везу ее в Бени-Макаду к психиатру. Потом она развернулась и заорала на Абдельвахида:

– Сукин сын!

Думаю, она так и не простила ему эту шутку, но сам он до сих пор вспоминает о ней с удовольствием. Как я уже говорил, я не сумел заставить себя отругать его, ведь в каком-то смысле он сделал это ради меня, надеясь, что в итоге Валеска изменит свое поведение. Но ничего, естественно, не изменилось, поскольку она сочла это всего лишь прихотью сумасшедшего араба, которому было любопытно посмотреть, как она отреагирует.

Вокруг растут причудливые виллы. Они хорошо построены, но уродливы и похожи на старомодные музыкальные автоматы с фасадами, разукрашенными чугунным литьем и изразцами. Закон требует, чтобы у каждой была дымовая труба, но эта труба никогда не соединяется ни с чем внутри дома и играет чисто декоративную роль. Строители ждут покупателей, но те не приезжают. Приедут ли когданибудь? Цены очень высокие: от 125 до 200 тысяч долларов, и, разумеется, никакого отопления – ни очагов, ни каминов, а часто нет даже площадки для сада. Но ведь именно от этой площадки зависит, считать ли их официально виллами или просто домами (которым дымовые трубы не нужны).

Надеюсь, что у Вас все хорошо и что Вы ответите.

III

Я поставил перед собой цель писать Вам пусть не часто, но регулярно, дабы Вы могли поддерживать связь с этим уголком внешнего мира: возможно, это поднимет Вам дух. Безусловно, единственный способ

дать Вам представление о моей жизни – писать первое, что приходит в голову. При сознательном отборе материала можно навязать свою точку зрения – parti pris*. Думаю, мой метод позволит нарисовать более точную картину моей повседневной жизни, по крайней мере, той ее части, что протекает у меня в голове, – несомненно, важнейшей.

Я часто представлял себя в Вашем незавидном положении в случае пожара или землетрясения. Не иметь возможности встать с кровати и попытаться спастись бегством. Или, если Вы сидите в инвалидной коляске, ездить на ней лишь взад-вперед по коридорам. Наверное, это было бы главной моей заботой, хотя, возможно, и нет, ведь нельзя жить в постоянном ожидании пожаров или землетрясений. Но, лежа ночью без сна, я могу во всех подробностях вообразить, как задыхаюсь от дыма или как лечу на пол вместе с упавшей на ноги балкой и давлюсь измельченной штукатуркой. Надеюсь, Вы не представляете себе ничего такого, – почему-то я в этом уверен. Теперь Вы, наверное, стали уже в достаточной степени фаталистом, чтобы считать все объективные явления сопутствующими факторами своей болезни. Если так, возможно, это отчасти вызвано тем, что Вам пришлось восемь лет терпеть несносную жену – своеобразная тренировка перед окончательным и полным смирением. В то же время мне пришло в голову, что постоянное присутствие такой женщины, как Памела, возможно, увеличило напряженность, которая в конце концов и привела к удару. Все эти восемь лет Вы безвинно страдали. Памела была расисткой. Она считала себя выше Вас, поскольку знала, что триста лет назад ее предки жили уже в Массачусетсе, тогда как Ваши – в каком-то захолустном уголке Украины. «Мы приехали сюда

* Предвзятое мнение (*фр.*).

первыми, и эта земля, разумеется, наша, но нам нравится принимать вас здесь, поскольку это разнообразит жизнь». Я ошибаюсь или Памела такой и была? Разве Вы постоянно не ощущали глубокого противоречия между тем, что она говорила, и тем, как она поступала? Спустя столько лет я плохо помню ее. От меня ускользает лицо, и я не могу мысленно его себе представить. Однако помню голос. Он был хорошо поставлен и приятен на слух, если только она не сердилась. Этого и следовало ожидать: ведь мы нарочно изменяем свой голос и манеру речи, если хотим передать эмоцию. Но теперь я должен спросить: Памела *хотя бы раз* сердилась? Мысленно прокручивая назад пленку с завтраком в Кито (в том ветхом кафе-мороженом с балконом, где подавали еду), я воспринимаю ее резкие, отрывистые фразы не как выражение досады, а как приказы, отдаваемые низшему по званию. Они произвели требуемый эффект: Вы сжались в своей скорлупе и замолчали. Все было замечательно, пока не возникло сопротивления, и тогда пришлось отдавать команды.

Дело в том, что два или три десятилетия я не думал о ней вообще. Я вспомнил о ней сегодня утром лишь потому, что пытался, исходя из своих знаний о ее жизни, представить возможные причины повреждения головного мозга. Я признаю, что постфактум это имеет лишь чисто академический интерес. Вскрытие не излечивает больного.

Проснувшись сегодня утром, я вспомнил дурацкую песенку, которую слышал в детстве, когда ее пела мне женщина по имени Этель Робб. (Не знаю, кем она была, но припоминаю, что, кажется, работала школьной учительницей.) Слова показались мне такими странными, что я выучил их наизусть.

Симнею порой, кокта с толин
Пыстрый фетер кросно ф окна туль,

Шеншчина токта ис фотефиль
Фелосипет катиль по фестипюль.

(Мелодия – вариант «Ach, du lieber Augustin»*.) Вы наверняка не слышали этой песни. Интересно, слышал ли ее хоть кто-нибудь, кроме знакомых мисс Робб?

Начало двадцатых было эпохой песенок с абсурдными словами: взять, например, «Ей-же-ей», «Огопого», «О, Лина, царица Палестины», «Да, у нас нет бананов», «Барни Гугль» и бог знает что еще. Была также песенка Фанни Брайс под названием «Подержанная роза», из-за которой у меня вышел казус с матерью хозяйки дома, когда я спел ее здесь на вечеринке в шестидесятых. Она не обратила внимания на фразу: «Даже по дешевке пианино прикупил мой папа для гостиной». Но когда я спел: «Даже Эби Коэн, мой кумир, мне признался, что женат он был», леди вскочила и подбежала к дивану, где я сидел. Обхватив и сжав мне лицо пальцами, она закричала:

– Даже вы, Пол Боулз, даже вы?

Это было так неожиданно и драматично, что мне показалось, будто я совершил серьезный промах. К счастью, другие гости знали эту песню и смогли убедить ее, что я сымпровизировал не специально для этого случая, хотя она, похоже, так до конца и не успокоилась.

Мне кажется, наша с Вами важнейшая общая черта (хотя Вы вправе утверждать, что ничего общего между нами нет) – убежденность в том, что человеческий мир вступил в заключительную фазу распада и разрушения и что это приведет к мучительному хаосу, когда любые попытки управления или сохранения порядка окажутся совершенно неэффективными. Я всегда замечал, что Вы клеймите упадок цивилизации еще яростнее, нежели я. Так было, разумеется, когда худшим нашим кошмаром казалось

* Ах, мой милый Августин (*нем.*) – австрийская народная песня.

уничтожение в результате ядерной войны. Но теперь мы можем представить себе условия, при которых скоропостижная смерть от огня, возможно, стала бы желанным освобождением из ада нашей жизни, и мы жаждали бы вселенской эвтаназии. Вправе ли мы *надеяться* на ядерную катастрофу – в этическом смысле – или же обязаны неуклонно желать продления человеческого рода, каких бы страданий это ни стоило? Я употребил слово «этический», поскольку мне кажется, что неэтичные желания неизбежно ведут к ложным заключениям.

Наверное, за всем этим стоит мое подспудное стремление узнать, не изменила ли полная нетрудоспособность хоть в какой-то мере Вашу точку зрения? Возможно, Вы стали раздраженнее, покорнее или же полностью равнодушны? (Впрочем, Вы не были таким ни при каких обстоятельствах, и я сомневаюсь в вероятности столь крутого изменения характера.) Я предчувствую, что, возможно, Вы считаете все это сугубо частым делом и мои назойливые расспросы, в конце концов, Вас разозлят.

IV

Я вижу, что на самом деле Вы не помните тех выходных, о которых упоминали ранее. Нет ничего постыдного в том, что Вы не можете всего вспомнить, но вдвойне досадно, что Вы лишились не только внешней, но и внутренней подвижности – я имею в виду свободу передвигаться в прошлом и исследовать закутки памяти. Знаю: прошло сорок лет, Вы говорите, что забыли, и мы все втроем так напились, что никто не мог вспомнить подробности той нелепой поездки. Но мы с Вами пока не были пьяны, когда прибыли в деревню (и пришлось сойти с поезда, поскольку железную дорогу дальше не проложили). Было еще светло, мы перешли реку по недостроенному мосту

и добрались до так называемого отеля. Наверняка, Вы помните, что из выпивки был один мескаль, Вы твердили, что он воняет политурой, и я припоминаю, что это действительно было так. Вы с тех пор когда-нибудь пили его? Ну и ночка! Бартоломе сидел, все больше напиваясь, и хохотал до упаду. В определенный момент (поройтесь хорошенько в памяти – Вы *должны* это помнить) противомоскитная сетка над моей кроватью рухнула мне на голову, я запутался в складках и расчихался от пыли, а Бартоломе, сидя в кресле, показал на меня, когда я барахтался, и воскликнул:

– *Pareces al Niño Dios!*[*]

И Вы с ним безостановочно смеялись, пока я чихал и молотил руками, пытаясь найти отверстие в сетке. Оставалось лишь отправить Бартоломе за новой бутылкой «Техуакана» и пить мескаль дальше. Мне кажется, именно Бартоломе в конце концов выпутал меня. Я допускаю, что Вы были под хмельком, но все же не настолько пьяны, чтобы ничего не помнить. Все это было забавно и относится к кредитной части бухгалтерской книги. Но, как всегда, я острее осознавал не веселье, а неприятные детали. Следующий день показался нескончаемым. Что за мучение – ехать на трясущемся, расшатанном маленьком поезде! Я с отвращением смотрел на кактусы, которые усеивали выжженные склоны холмов на целые мили. При каждом толчке пульсирующая боль в голове усиливалась. Бартоломе спал. Кажется, у Вас похмелья не было, и это меня немного злило: тогда Вы уже привыкли к алкоголю, а я еще нет. Но раз Вы говорите, что не помните, я остаюсь наедине со своими воспоминаниями – возможно, все это мне приснилось.

Иногда мне кажется, что Вы преувеличиваете свою нынешнюю неполноценность, хотя, безусловно, не

* Похож на младенца Иисуса (*исп.*).

для того, чтобы вызвать жалость, ведь это на Вас не похоже, да и, впрочем, стремление к преувеличению, вероятно, имеет бессознательную природу. Тем не менее, Вы настолько подчеркиваете свое несчастное положение, что Вас просто нельзя не пожалеть. Вопрос: почему Вы так усиленно педалируете свое горе? Мне кажется, просто от озлобленности. Наверное, Вы думаете: «Теперь я прикован к инвалидной коляске. Вот и все – именно этого хотел весь свет». Иными словами, это *они* во всем виноваты. Если бы Вы были верующим, то могли бы пенять на Бога, но разве это приносило бы больше удовлетворения?

Помнится, вы недолюбливали животных. Сам я никогда не был собачником и считал себя, напротив, айлурофилом[*]. Мне казалось, что я еще успею подружиться с семейством псовых. Но здесь это маловероятно. По ночам они выходят целыми сворами и порой нападают на прохожих. Как-то вечером один собачий секстет гнался за моим американским другом четверть мили по дороге, ведущей от подножия Старой Горы к новому району Драдеба. Когда конкретный пес постоянно мешал мне спать, я дважды прибегал к решительным мерам. Я понимаю, что лучше описать эти меры, иначе Вы подумаете, будто я отравил несчастных тварей. Естественно, это – первое, что пришло мне в голову, но я отверг данное средство из-за страданий, которые оно вызывает. Кроме того, симптомы отравления крысиным ядом (единственным смертоносным веществом, которое я мог здесь найти) общеизвестны, и владелец животного тотчас заподозрил бы, что его сторожевого пса отравили. Метод, который я применил к первой твари, лаявшей ночи напролет в соседнем саду, требовал временных затрат, но был зато эффективен. Мне приходилось целую неделю не спать по полночи,

* Любитель кошек (от греч. αίλουρος, «кошка»).

выжидая, пока улица станет совершенно безлюдной. Примерно в половине первого я шел на кухню и готовил полфунта сырых гамбургеров. В одну ночь я подмешивал в мясо меллерил и ларгактил, а в следующую – измельчал несколько таблеток анафранила*. Я чередовал лекарства, пока хозяин собаки не решил, что та взбесилась и не пристрелил ее. После первой же лечебной ночи лай прекратился. Похоже, это наиболее гуманный способ избавления от животных.

В другой раз одна сука ощенилась в гараже, который всегда стоял открытым. Ночной сторож принес картонку, чтобы собака лежала там со щенятами. Когда их отдали, сука осталась в гараже, и ее подкармливала чудаковатая эфиопка, в любое время присылавшая служанку с едой. Полностью освоившись в гараже, собака начала вести междугородные переговоры со своими подругами из Айн-Хайяни и Драдеба. Я пожаловался Абдельвахиду и подумал, что, возможно, он найдет какой-нибудь выход. Тот оказался весьма простым. Абдельвахид взял суку и засунул ее в багажник. Мы подъехали к Форе Дипломатик на краю пляжа, где стоит ресторан, которым владеет один марокканец с целой сворой собак. Прежде чем выпустить суку из багажника, Абдельвахид развернул «мустанг», чтобы можно было поскорее уехать. Сбитая с толку, она постояла секунду на пляже: другие собаки заметили ее и подошли знакомиться. Как только они окружили ее, Абдельвахид тронулся, и мы умчались, хотя я видел, как она еще долго бежала за машиной, пока мы ехали через лес. Она была вовсе не дура: едва услышав звук мотора, оттеснила других собак и помчалась за машиной.

* Меллерил и ларгактил – нейролептики, или антипсихотические препараты. Анафранил – наоборот, антидепрессант, или психотропное средство.

С марокканцами что-то произошло. Пятьдесят лет назад собак здесь ненавидели. Их держали только деревенские жители. Слишком много грязи для города. Потом люди обратили внимание, что почти все француженки выходят на улицу с собаками на поводках, и мало-помалу начали им подражать. Поначалу мальчики водили дворняжек на веревках, туго обвязывая ими шеи животных. Проходящие мимо французские дамы возмущались:

– *Mais ce pauvre chien! Tu vas l'étrangler!**

Теперь у каждого марокканского ребенка, живущего в таком же районе, как я, есть собака. Большинство – немецкие овчарки: отцы считают, что они лучше стерегут дом.

Французы непредсказуемы. В прошлом месяце молодой фотограф из Парижа снимал здесь для «Либерасьон». У него вызвали изумленный возглас размеры банки для арахисового масла, наполненной птичьим кормом. «Подлинная? – Допытывался он. – Они действительно продают такие огромные банки арахисового масла?» Когда я ответил: «Да», француз, по-моему, заподозрил, что я морочу ему голову, поскольку прошел через всю комнату и внимательно рассмотрел сосуд. Веселого Рождества.

V

На прошлой неделе кто-то прислал мне коробку американских шоколадных конфет с начинкой. На крышке написано «Домашние». На другой ее стороне – список компонентов, используемых в этом «домашнем» производстве. Среди них – инвертный сахар, частично гидрогенизированные растительные масла, сорбитол, лецитин, бутилированный гидрокситолуол, бутилированный гидроксианизол,

* Бедная собачонка! Ты же ее задушишь! (*фр.*).

пропилгаллат, сорбат кальция, диоксид серы и бензоат натрия. Даже в самом современном домашнем хозяйстве вряд ли найдутся на кухне все эти деликатесы. Хоть я много лет не был в американской кухне, мне известно, что она становится все больше похожей на лабораторию. Возможно, сейчас там уже есть химические шкафчики, укомплектованные всем на свете – от триэтиленгликоля до метоклопрамида.

Помнится, во времена Первой мировой войны в кухнях фермерских домов тоже не особенно приятно было находиться, несмотря на всю романтизирующую их пропаганду. Там царил смешанный запах кислого молока, укропа и железа, которым отдавала родниковая вода. С каждого подходящего крючка спиралями свисали липучки, и мухи жужжали со всех сторон. Если в доме были собаки, они воняли. Если дети – они воняли тоже. Трудно поверить, чтобы серьезные люди сами захотели так жить. Что с ними? Да ничего – просто они не видели ничего лучшего, вот и все. Этот ответ никогда не удовлетворял меня. Он подразумевал двойные стандарты, которые позволяли моим родителям закрывать глаза на недостатки этих людей. Но они никогда не прощали *мне* незнания того, что я обязан был знать, и проявляли строгость именно потому, что я *не был* фермерским сыном. Семьдесят лет назад существовали классовые различия между теми, кто воспитывался в городе, и теми, кто вырос на ферме. Теперь, похоже, их очень слабо разграничивают. Само понятие «класса» тщательно искоренили. Либо у тебя есть деньги, либо у тебя их нет. Наверное, это результат демократии, под которой неверно понимается не равенство, а, скорее, подобие.

Возможно, Вы никогда не видели типичной маленькой недорогой парижской гостиницы двадцатых годов. (К тому времени, когда Вы приехали в Париж после Второй мировой, все немного изменилось.) На этаже было всего три-четыре номера, лестницы и коридоры устилали толстые ковры, а окна закрывались двойными шторами. Обычно в комнате было два источника света: одна люстра висела посредине потолка, а другая лампочка – в головах над кроватью. Обе крепились к системе блоков, которые позволяли двигать их вверх или вниз по мере надобности. Обои всегда темные, с широкими цветными полосами, которые, возможно, когда-то были слишком яркими, но об этом уже не узнаешь, потому что они давно потемнели от времени. В таких номерах легко чувствовать себя упакованным и защищенным, и они до сих пор мне часто снятся. Впрочем, подобные сны неприятны: всегда кажется, будто я собираюсь съехать и уступить номер кому-то другому. В каждом сне ощущается подсознательная тревога.

Между прочим, у Вас нет никаких оснований упрекать меня в том, что я никак не отреагировал на Ваш последний горестный рассказ. Подобные реакции могут быть лишь эмоциональными по своей природе, и, по-моему, никогда не имеет смысла выражать свои эмоции на словах. Тем не менее, уверяю Вас, что, читая Ваше письмо, я очень сильно огорчился и понял, что Вы переживаете новые страдания: я полагал, что поделился этим впечатлением раньше.

Возможно, Вы помните (хотя, наверное, нет, Вы ведь никогда не раскрываете книг, написанных в нашем столетии) фразу Кастора из *«La Nausée»**: *«Je me survis»*. (В американском издании она неумело переведена как «Я пережил самого себя».) Я понимаю ощущение Кастора, пережившего самого себя; оно сродни моему ощущению, хотя свое я бы выразил словами: *«Ma vie est posthume»***. Улавливаете разницу?

* «Тошнота» (*фр.*) – первый роман Жана-Поля Сартра (1905–1980), опубликованный в 1938 г.

** Я живу посмертно (*фр.*).

У меня часто возникало желание, чтобы кто-нибудь переписал концовку «Гекльберри Финна», убрав заключительные фарсовые сцены, которые Твен, вероятно, смущенный лирическим размахом почти завершенной книги, счел необходимыми, для того чтобы его произведение по достоинству оценили американские читатели. Это великий американский роман, безнадежно испорченный бессмысленным авторским саботажем. Мне было бы интересно узнать Ваше мнение, или, возможно, Вам кажется, что эта книга не заслуживает какого-либо мнения, поскольку неудавшийся шедевр – вовсе не шедевр? Все же успешно скопировать стиль, так чтобы незаметен был шов, а последующий текст служил убедительным продолжением предыдущего, – это, похоже, непосильная задача. Лично я за нее бы не взялся.

По-моему, сокращение объема внимания – предупредительный знак подкрадывающегося маразма, я считаю это одной из форм впадения в детство. Поживем – увидим.

VI

Я не упоминал о той нарастающей враждебности, которую заметил в Ваших письмах, так как полагал, что она направлена не на меня, а на мир в целом. Теперь же я вижу, что глубоко ошибался. Сначала Вы сказали, что в своих письмах я просто потакаю своим желаниям. Я не обратил внимания, посчитав это всего лишь критикой моего метода. Но я не мог пропустить слово «злорадство». Увидев его, я понял, что лучше завершить переписку одной несомненно жестокой открыткой «Поправляйтесь» и на этом закончить.

Мне кажется, в этот последний период жизни Вам, возможно, следовало бы отказаться от своих мазохистских наклонностей. Я вижу, что Вы придерживаетесь противоположного мнения и, наоборот, намерены дать им волю. Это очень скверно. Очевидно, я ничем не могу Вам отсюда помочь, и мне остается прекратить диалог. Но я надеюсь, что, погружаясь в добровольное небытие, Вы вспомните (хотя Вы и не вспомните), что я предпринял эту скромную и бесплодную попытку помочь Вам остаться человеком.

*Hasta el otro mundo,** как говаривала Роза Лопес.

* До встречи на том свете (*исп.*).

Неуместный визит

После нескольких сотен лет скитаний в космосе у Святой Розенды возникло желание вернуться на Землю. В последнее время она стала скучать по родине, и у нее появилась безрассудная мысль, что, ощутив испанскую землю под ногами, она снова будет счастлива. О своем прибытии она не возвестила. Если ее узнают, всеобщее внимание лишит ее желанного покоя.

Пока же, чтобы ощутить полную связь с Землей, Святой Розенде следовало материализоваться; только так можно убедиться в реальности окружающего. Это, конечно, сделало ее видимой – изрядная помеха, отчасти из-за ее старомодных одежд, а тем более из-за легкой ауры вокруг головы, в которой сразу узнавался нимб.

Ее прибытие было внезапным: она просто возникла как-то днем за кустами в общественном саду провинциального испанского города. На скамейке сидела женщина, преподававшая химию в соседнем колледже. Увидев Святую Розенду, она в панике вскочила и убежала. Это не предвещало спокойного пребывания на Земле, и Святая Розенда поняла, что городов следует избегать.

Так что она приземлилась на поле возле деревушки на острове Менорка. Она решила опуститься тут, потому что ей понравился пейзаж и она подумала, что тут никто не живет. Но поблизости оказалась деревенская девочка, собиравшая зелень; увидев внезапное появление Святой Розенды, она ошеломленно вскочила. Святая тут же дематериализовалась, но было поздно. Девочка помчалась к деревне, вопя, что увидела чудо. К ее истории отнеслись с полным доверием. Несколько сот человек выбежали в поле, надеясь взглянуть на святое видение. Паря в небесах, Святая Розенда поглядела на них и решила перенестись на материк. Проблема была в том, как найти приятное место и незаметно остаться там.

Учитывая многочисленные трудности, предстоявшие Святой Розенде, удивительно, что она не отказалась от своего замысла и не вернулась в космос. Она не могла общаться с людьми, даже если бы захотела, поскольку у нее не было голоса. Читать и писать она не умела: ведь в ее времена даже святым не обязательно было обучаться грамоте.

Идеальных условий для возвращения на родину не было, но выбора у нее не оставалось. Раз ей захотелось пребывать на Земле, с этим следует смириться. Мелкие неприятности, между тем, вполне искупало то, что у нее не было нужды есть или спать, а более всего – возможность мгновенно дематериализоваться, если ей что-то не нравилось. В любом случае, она вернулась не для того, чтобы общаться с людьми; напротив, Святая Розенда надеялась избежать всяких контактов с ними.

Так что она отыскала симпатичную пещеру на склоне холма и, устроившись недалеко от входа, смотрела на залитый солнцем пейзаж, а потом закрыла глаза и обдумала перемены, случившиеся с тех пор, как она покинула землю. Она знала, что планета не стоит на месте, все течет и меняется, так что невероятные изменения, которые, похоже, произошли за время ее отсутствия, ее не поразили. Больше всего ее беспокоила одежда, ибо она поняла, что именно наряд в первую очередь отличает ее от других женщин. Она не обретет желанного покоя, пока не станет

похожей на них. Размышляя об этом, она обмотала голову тряпицей, найденной в пещере. Хотя бы нимб не будет виден.

Как-то днем, на миг открыв глаза, она увидела двух мальчиков, играющих неподалеку от входа в пещеру. Похоже, они ее заметили, но не обратили особого внимания. Успокоившись, она закрыла глаза. Когда же открыла их снова, мальчиков не было. Они появлялись почти каждый день, но к пещере не подходили.

Но она не знала, что мальчики сказали родителям о странной женщине, которая каждый день сидит на одном и том же месте. Поскольку неподалеку находились казармы и военный аэродром на другой стороне холма, жителей просили сообщать о подозрительных личностях.

Отец мальчиков рассказал караульному о женщине, живущей в пещере, и в результате Святую Розенду посетила группа солдат: они заставили ее пройти к джипу, ожидавшему на дороге за перелеском. Солдаты все время что-то спрашивали: она слышала и отчасти понимала, но ответить не могла. В основном, из любопытства, она решила уступить и пойти с ними; возможно, удастся узнать, чего они хотят. Кроме того, ей казалось, что будет в высшей степени бестактным преобразиться и исчезнуть у них на глазах. Она предпочитала делать это в одиночестве.

Сначала ее отвезли в полицейский участок: она не могла понять, что творится вокруг. Оттуда препроводили в больницу, объяснив дежурной сестре, что задержали глухонемую. Другая сестра отвела ее в маленькую комнату и оставила в одиночестве, заперев дверь. Врач, который должен был ее обследовать, заметил, как ее ведут в здание, и из-за диковинного наряда и намотанной на голову тряпки немедленно заподозрил, что это переодетый мужчина. Когда он услышал от сестры, что женщина не может говорить, его подозрения усилились.

«Vamos a ver»*, – сказал он себе, открывая дверь комнаты, где ее оставили. За миг до этого Святая Розенда, возмущенная, что ее заперли в какой-то каморке и утомленная бессмысленной процедурой, дематериализовалась. Комната была пуста. Возмущенный врач вызвал сестру и сказал, что из-за ее беспечности, быть может, сбежал опасный преступник. Сестра ответила, что дверь была заперта, да и в любом случае, по ее мнению, это была просто умственно отсталая женщина, вот и все. Как бы то ни было, предупредили полицию и организовали поиски, поначалу – в больнице.

Пока сестры и врачи обходили здание, заглядывая в палаты, Святая Розенда смотрела на них, думая, как по-идиотски они выглядят. Она не могла понять, чего они от нее хотят, но не доверяла им. Летая по зданию и наблюдая за переполохом, который она учинила, Святая Розенда очутилась в раздевалке, где сестры, надев халаты, оставляли уличную одежду. На такую удачу она и надеялась. Платья, свитера и пальто висели на крючках, а многие шкафчики были не заперты, так что и там можно было выбрать одежду. Всего за десять минут ей удалось отыскать подходящий наряд. Нашлись удобные туфли и большой итальянский платок, который она обмотала вокруг головы вместо тряпки. Теперь, казалось ей, можно ходить по улицам, не привлекая внимания. Чтобы испробовать свою анонимность, она вышла из главных ворот больницы, и никто ее не заметил.

Такого города она еще никогда не видела. Улицы были полны народа, и, хотя у люди не веселились, она заключила, что они отмечают какой-то праздник. Автомобили (которые они приняла за повозки) неприятно дымили, проезжая мимо. Она решила несколько минут провести в толпе, дабы убедиться,

* Так, посмотрим (*исп.*).

что ее действительно не узнают, а потом отправиться в тихое место на природу и больше в город не возвращаться.

Внезапно среди уличных запахов она уловила слабое благоухание ладана. Слева от нее была церковная дверь. Святая Розенда повернулась и вошла.

И тут же поняла, что все не так. Свет внутри был точно от солнца и исходил не от свечей. Музыка была не такая как нужно. Она слушала, пока не начал говорить священник. Ни единого слова разобрать не удалось. И тут она с ужасом поняла, что он говорит не на латыни, а на уличном языке.

Желая лишь одного – схватить этого человека и прервать поток богохульств, Святая Розенда помчалась к алтарю. Несколько прихожан заметили ее, но не пытались остановить. Даже когда Святая Розенда оказалась перед священником, он продолжал машинально произносить мерзкие слова, глядя ей в лицо.

Двумя руками она толкнула его в грудь, и на миг они сцепились; подбежали люди. В разгар борьбы с головы святой Розенды сорвали шелковый платок, и на глазах у всех огненный круг вспыхнул над ее головой. Она не стала дожидаться реакции священника или паствы и снова стала привычно невидимой. Единственной переменой, с которой она не готова была смириться, оказался упадок богослужения, и теперь у нее больше не осталось ни малейшего желания пребывать на Земле. Быть может, вернется через несколько столетий: Святая Розенда надеялась, что к тому времени дела, наконец, поправятся.

1987

In absentia*

(*отправлено Памеле Лёффлер*)

Постараюсь быть кратким, чтобы не особо утруждать тебя чтением. Знаю, как тревожатся женщины, когда им предстоит поселиться в новом доме, управляться с новой прислугой, принимать все эти невыносимые решения о том, как расставить мебель и где разместить вещи.

Наконец-то выдался чудесный солнечный день. Всю прошлую неделю дождь лил и лил, так что внезапное явление света воодушевляет. Благодаря солнцу я стал думать о тебе: ты ведь тоже его любила. Ты по-прежнему загораешь – или там, где ты сейчас, слишком жарко? Я бросил это дело давным-давно: у слишком многих знакомых появился рак кожи.

Так что утром я проснулся с мыслью: сегодня напишу Памеле. Знаю, прошло много времени с тех пор, как мы виделись или общались, но я следил издали за твоей деятельностью по источникам, которые принято считать ненадежными: «Тайм» и «Интернэшнл Хералд Трибьюн». И теперь могу тебя поздравить. (Нет ничего святого: все знают, как много ты получила. Но даже такая сумма не погубит старую Лёффлер, так что не кори себя.) Могу только отметить, что порой чаша весов склоняется к справедливости, и я счастлив, что тебе удалось изведать этот феномен на собственном опыте.

* Заочно (*лат.*).

Уже отчасти представляю, где ты теперь обитаешь: на северном побережье Мауи. Я даже нашел Каулуи и Паукокало. Изучая карту, я не мог не заметить, что весь западный берег гавайского острова украшен потоками лавы, о чем ты, вне всяких сомнений, знаешь. Забавно, что каждый из них поименован в честь года, когда эта субстанция стекла по горному склону, так что тут имеются *Поток лавы 1801, Поток лавы 1859, Поток лавы 1950*. Напоминает улицы в латиноамериканских странах, названные в честь знаменательных дат. «Он живет на углу Четвертого апреля и Девятнадцатого октября».

Помню, когда люди меня спрашивали, чем занимается Памела, я отвечал: «О, она занята собственной красотой». Помню также, что мне устраивали нагоняй за столь легкомысленный ответ. Но что тут не так? Разве это не верно? Ты красива (как мы знаем) и остаешься красивой благодаря своей целеустремленности. Это требует сосредоточенности и напряжения. Иначе на свете и не было бы Лёффлер.

Теперь пытаюсь вообразить тебя в неамериканских декорациях нашего пятидесятого штата. Носишь ли ты бриджи, как Карен Бликсен в Кении? Когда выпадет минута, пришли фотокарточку. Буду ее ждать.

(*отправлено Памеле Лёффлер*)

Нет, трехмесячное молчание вполне простительно. Удивлен, что ты вообще нашла время ответить. Большинство обстоятельств, которые я хотел выяснить у тебя в прошлом письме, но воздержался из деликатности, похоже так или иначе благополучно разрешились: водопровод, прислуга, продовольствие, соседи. Упомянутые последними, сдается мне, имеют первоочередное значение. Великолепно, что ты обнаружила голливудскую публику всего в шести милях от дома. Кажется, я никогда не слышал его имени. Хотя, окажись он самым знаменитым режиссером в США, я все равно мог бы о нем не слышать. Ты ведь знаешь, я никогда не любил кино. Как бы то ни было, хорошо, что они оказались поблизости и настроены общаться. Они выглядят, как *echt** обитатели Беверли-Хиллз, но может быть, это лишь оттого, что я полагаюсь на твое описание.

Более всего рад слышать, что старые друзья собираются тебя навестить. Если Флоренс и впрямь появится (знала ли она когда-нибудь свои планы?) передавай ей сердечный привет. Могу представить, как она попадает в Сан-Франциско и решает поехать в Кармел вместо Гонолулу, а два месяца спустя, даже не предупредив, неожиданно объявляется у тебя, и как раз тогда, когда дом *archicomplet***. Помню одну зиму, когда она не закрыла дом в Тёртл-Бэй и держала там экономку, чтобы та в ее отсутствие ухаживала за кошкой (причем полгода или больше), поскольку полагала, что кошки привыкают к дому больше, чем люди, и кошка очень расстроится, если ее забрать. При этом, вернувшись, отдала кошку кому-то из Коннектикута.

Скажи мне – ты наверняка это знаешь, раз окружена экзотической флорой: плюмерия – это то же растение, которое на Филиппинах называют иланг-иланг, а в Индии – чампак? Не пытаюсь тебя проверить, просто сам не знаю, хотя нет причин ожидать, что знаешь ты. И все же это такая вещь, которую ты можешь знать. Если нет, – быть может, знает кто-то из твоих друзей в Бостоне. Бостонцы часто знают самые невероятные вещи. Во всяком случае, раньше знали. Или уже не осталось настоящих бостонцев?

Вижу, ты понимаешь, какое удовольствие доставляет сочинение писем. В иные века это казалось очевидным, но теперь уже нет. Лишь очень немногие

* Настоящие (*нем.*).

** Битком набит (*фр.*).

ведут в наши дни настоящую переписку. Не хватает времени, скажут остальные. Быстрее по телефону. С таким же успехом можно сказать, что фотография предпочтительней живописи. И прежде было не так уж много времени для сочинения писем, и все же оно находилось, как обычно бывает со всем, что доставляет удовольствие.

Так что, когда найдешь время, пришли мне несколько фотографий – своих и дома. Полагаю, это должны быть полароидные снимки, поскольку из твоего письма я заключил, что у тебя не самый простой доступ к тому, что называют прелестями цивилизации. Насколько я понял, бóльшую часть припасов тебе доставляют по морю из Гонолулу. Это вполне похоже на здешнюю ситуацию. «Ждем новой поставки. Может, месяца через три-четыре». И это еще честные *бакалы;* остальные говорят: «На следующей неделе, *иншалла*», – зная, что это неправда. Вы можете получить, а можете не получить никогда свою кастрюльку, или порошковое молоко, или мастерок, или швабру, или грюйер, или шпатель. Скорее всего, никогда не получите, поскольку ввоз этих вещей в страну нынче запрещен. Tant pis et à bientôt.*

(*отправлено Памеле Лёффлер*)

Благодарю за годичной давности фотографию строящегося дома. Даже без последних штрихов понятно, какой он, должно быть, сейчас симпатичный. В самом деле величественный, такой роскошный. У тебя наверняка есть комнаты для десятка гостей, на случай если ты почувствуешь, что готова поддаться меланхолии. Но я не вижу никаких следов ни тебя самой, ни кого-либо другого. Исключительно дивная растительность.

Отчего ты решила, что я способен истолковать твой сон? Прежде всего, я не верю, что X может объяснить Y, что приснилось Y. Откуда мне знать, что означает для тебя бег вдоль пирса и какова твоя обычная реакция на водоросли? Я и собственные сны не понимаю, не то что чужие. Заметил, что у людей есть склонность запоминать сны, в которых присутствует действие, и часто задумываюсь, не добавляют ли они действие в пересказе, поскольку в своих снах я вообще не могу уловить внятного сюжета. Скорее они походят на череду несвязанных застывших снимков, а не на фильм. Но рассказчики снов неизменно продолжают: «А потом… А потом…» Хотелось бы знать, действительно ли так происходит с ними, или им только кажется, что так должно быть.

И к тому же – зачем истолковывать сон? Если это предупреждение от твоего бессознательного, ты все равно получишь это послание. Скажи мне, можешь ли ты заставить сон повториться? Я не могу. В любом случае, приятных сновидений.

(*отправлено Памеле Лёффлер*)

Снова допытываешься о снах? Почему ты говоришь, что я «лучше всех» должен знать о них? Я не воспринимаю их так, как ты. Для меня они просто психический барометр, полезный лишь самому сновидцу, как градусник полезен только человеку, у которого поднялась температура. Вряд ли стоит наделять особой важностью одни образы в ущерб другим (вне зависимости, насколько важными они кажутся в процессе сна), поскольку сами образы – лишь посланцы других, несформулированных образов. Ты ожидаешь, что кто-то объяснит тебе «значение» масс красных водорослей, плавающих на воде? Водоросли – это водоросли. Ты также утверждаешь, что совершенно ничего не испытала, глядя на них. Отчего же, бога ради, тебя интересует их «значение»? Если это ничего не значит в твоем сне, что же это может означать в ретроспекции?

* Тем хуже, и до скорого (*фр.*).

Ты спрашиваешь, существует ли у местных мусульман система толкования снов. Конечно, она есть, как есть у них (теоретически) система для всего, но это лишь оправданная свыше религиозная символика. Не вижу в ней ни малейшего сходства с фрейдистской теорией (да и откуда ей взяться?). Все это могло произойти из книжонки под названием «Сонник Али-Бабы». Но они верят в это, как индусы верят в идиотский зодиак с двенадцатью знаками. (И не только индусы, увы.)

Дорогая Памела, ценность письма не может измеряться его объемом. Если у тебя нет времени написать то, что ты называешь «настоящим» письмом, черкни пару строк. Я совершенно не ожидаю, что кто-то начнет сочинять высокопарные эпистолы, как я сам порой это делаю. Я пишу письма, потому что меня это развлекает. И даже не очень важно, нравится ли адресату читать то, что я написал; я свое удовольствие получил.

Так что не вздумай не писать потому лишь, что выйдет всего несколько строк. Можешь прислать такую записку: «Знойный день, и у меня депрессия. Я ела ветчину и фруктовый салат на обед», – и я буду в восторге. Но если не пошлешь мне вообще ничего, ты оставишь место воображению, которое всегда наготове со своими тревогами. Хотелось бы мне узнать, что ты думаешь об этом доме, а также о людях, которые у тебя гостят. Тебе ведь не понадобится много времени, чтобы рассказать мне это, верно?

(*отправлено Памеле Лёффлер*)

По-моему, Танжер все меньше и меньше пригоден для жизни. Одна из важнейших причин, удерживающих меня здесь, – хороший воздух, которым мы дышим. Но автомобильное движение десятикратно возросло за последние пять лет, причем практически у всех новых машин дизельные моторы, улицы задымлены. Автобусы и грузовики постоянно испускают жирный черный дым. Дома меня это не беспокоит, потому что я живу очень высоко. Но ходить по улицам стало нелегко. Дело не только в грязном воздухе; на тротуарах полно препятствий: машины, припаркованные посредине, группы школьников, сидящих на бордюрах, нищие, прилепившиеся к стенам. Если заговоришь о нищих с марокканцем, он скажет: «Среди них нет ни одного танжерца. Они все с гор. Ничего им не давайте».

Рискованно недооценивать сообразительность марокканцев. Они понимают, когда ты врешь, а когда просто преувеличиваешь, они знают, когда ты говоришь всерьез, а когда просто треплешь языком, и все это постигают напрямую, не обращаясь к логике. Правда и то, что они чуют подвох там, где его нет. Я спорил с марокканцами, не желавшими верить, что кто-то побывал на луне. «Просто американская реклама». Другие, признав полет на луну, считают, что лучше бы на эти деньги накормить голодных. «Какой от этого прок?» Они не захвачены и не поражены идеей освоения космоса, потому что не могут осознать историческое движение или рост: время для них застыло. Все таково, каким было всегда, и навечно останется таким. Утешительная философия, если удастся ее принять.

(*отправлено Памеле Лёффлер*)

Твое письмо о Палмерах очень занятное. Ты ведь не убеждаешь Дика поискать недвижимость рядом с тобой? Это будет сущей катастрофой, верно? Согласен, что мило, когда знакомые живут в пятнадцати или двадцати милях от тебя, если всякий раз, когда их видишь, первой реакцией не становится дрожь в коленках. Столько сил уходит на то, чтобы ее одолеть. Я дошел до той стадии, когда предпочтительней одиночество, чем жизнь с подобным стрессом.

Конечно, Рут всегда была пустым местом, даже до того, как вышла за Дика. В ту пору, когда мы общались, она собирала глиняные черепки, кусочки кварца и криноиды. Так что эта затея с бабочками вполне в ее духе. Должно быть, забавно глядеть на нее, когда она скачет с сачком! Зобастая и неуклюжая. Дик попросту твердолоб и деспотичен; таким он мне запомнился. (Не видел его лет пятнадцать, но уверен, что он не слишком изменился. Возможно, груз лет поубавил его энергию, но не много энергии требуется, чтобы быть эгоистичным, если такова твоя натура.) Когда он жил здесь, он был совершенно помешан на «Роллинг Стоунз», с которыми познакомился в Лондоне. Это название мне ничего не говорило, но Дик уверял, что это величайшая рок-группа на свете. Однажды он вытащил меня из постели в час ночи – стал барабанить мне в дверь, очень возбужденный. Я должен пойти к нему, потому что у него в квартире «Стоунз». Я, спросонья: «Какие еще стоны?» Он объяснил, и я пошел. Человек по фамилии Джаггер, одетый точно на маскарад, возлежал на кровати, глодая ягнячью ногу. У его ног валялась девушка, и еще какие-то люди спали вповалку на полу. В комнате было сумрачно, так что я не разглядел их наряды. Мистер Джаггер не произнес ни слова. Его рожа блестела от бараньего жира. Дик, заметив мое изумление при виде недвижных тел на полу, признался, что все приняли новый наркотик, и он, очевидно, поверг их в коматозное состояние. Странное дело: Дику присуще такое затаенное обожание. Это физическое свойство, на вид заразное, хотя это не так. Оно минует тебя, точно болтовня торговца, не порождая почти никакого отклика.

Примерно через час я поблагодарил его и сказал, что отправляюсь спать. Мой уход не прошел гладко. Дик воспринял это как оскорбление, решив, и вполне справедливо, что я не оценил выпавшую мне редкую удачу встретиться со «Стоунзами». Я счел, что был достаточно терпелив, но, когда вышел и оглянулся, чтобы еще раз поблагодарить Дика, он скорчил рожу и, изображая благопристойную английскую гувернантку, произнес: «Ух ты, ути-пути, у-лю-лю, тю-тю-тю, да-да!» и захлопнул дверь.

Если будет подходящий момент, можешь упомянуть эту историю и посмотреть, вспомнит ли ее Дик. Наверняка он помнит, что на следующее утро все они, включая самого Дика, отправились в Марракеш. Это было еще до всякой Рут.

Не удивлен, что Флоренс отложила свой приезд; в сущности, это я и предсказывал. Но что меня поразило, так это то, что у тебя Дик и Рут Палмер: не сомневаюсь, что не таких людей ты бы хотела пригласить в первую очередь. Но, разумеется, всякое бывает, когда у тебя большой дом в безлюдном месте. Конечно, лучше уж принимать гостей, чем жить в одиночестве. А следующая твоя гостья, Фронда Фаркхар – кто она и что? И это имя – нелепей не бывает! Ты говоришь о ней, словно я должен знать, кто она такая, но я не знаю. Чем она промышляет? Или это еще одна Рут – ищет наконечники копий и ракушки?

Ну ладно, хоть какое-то развлечение.

(*отправлено Сьюзан Чоат*)

Ну и ну! Гиппократ наносит новый удар. Меня удивляло твое долгое молчание, но теперь понимаю. Гепатит Б – не очень веселое дело. Меня поразило, что ты избавилась от него в больнице: я-то всегда считал, что там человек заражается гепатитом, а не излечивается. Ты уверена, что все действительно прошло? Должен сказать, я надеюсь на это. Счет из больницы, который ты приложила, ошеломительный. Откуда у тебя взялась уверенность, что я способен его оплатить? Ясное дело, я не могу посылать тебе все

больше и больше денег. Твои расходы растут как сорная трава. Понимаю, что ты ничего не можешь поделать; деньги стоят все меньше, но это означает лишь, что такие люди, как я, могут все меньше приобретать. Я не читаю нотаций, просто оплакиваю счет из больницы. Удивительно, что тебя выпустили из этого заведения без какой-либо гарантии, что он будет оплачен. Естественно, ты считаешь само собой разумеющимся, что я могу его оплатить, и даже не помышляешь, что у меня может не хватить денег. И я могу его оплатить, да, но без всякого удовольствия. Как ты вообще заразилась гепатитом? Есть у них какие-то догадки о его происхождении? Надеюсь, тебе разъяснили, как избежать его в будущем.

Ты получила кафтан? Он идеально подходит для модных раутов в Нью-Йорке или Бостоне, если таковые еще случаются. (Хотя мне говорили, что девушки снова стали интересоваться нарядами и носят не только эти пролетарские джинсы, которые они предпочитали несколько десятилетий.) В любом случае, кафтан – музейная вещь. Эту очень тяжелую шелковую парчу больше не ткут – даже у Фортуни. Я купил его у марокканского друга, в семье которого он хранился с начала века. Не сомневаюсь, что в нем ты выглядишь потрясающе, и надеюсь, что ты станешь его носить. (Не в больнице, разумеется!) Жду твоего письма.

(*отправлено Сьюзан Чоат*)

Рад слышать, что с твоей печенью все в порядке. Но, боже милосердный, Сьюки, не удивительно, что ты подцепила гепатит. Это полное безумие – ездить на Гаити, даже в короткий отпуск. Не удивлен, что ты мне об этом не сообщила. Наверняка же знала, что я постараюсь тебя отговорить. Кажется, ты думаешь, что все в порядке, потому что тебя пригласили и тебе это ничего не стоило. Но это стоило тебе шесть недель занятий, не говоря уж о том, что мне это обошлось в целое состояние.

Ты говоришь, что на Гаити живописно, и я не сомневаюсь, что так оно и есть. Но это именно тот сорт основанной на нищете живописности, где кишат болезни. Я сам провел немало времени, наслаждаясь нищетой других людей в экзотических местах, но, как тебе известно, заплатил за это различными хворями и недугами. Дело в том, что гепатит – серьезная болезнь и к ней следует относиться серьезно, а ты, подозреваю, этого не делаешь, судя по твоим беспечным отзывам о пережитом. Помни, что твоя прабабушка Грэй заразилась им во время путешествия в Мексику и умерла от этого, причем очень быстро. Так что, бога ради, сиди на месте, у себя в Маунт-Холиоке, и не добавляй мне бессонных ночей, отправляясь туда, где, как ты сама знаешь, тебе грозит опасность.

Отрадно слышать, что ты не пьешь. Но, видишь ли, переход на каннабис может быть столь же опасен для печени. (Табак и кофе – тоже!) Наверняка врачи все это тебе сообщили, но это не означает, что ты их слушала. И от того, что ты переболела, ты не приобрела иммунитет; напротив, стала уязвимее для нового приступа.

Прости, если я впадаю в педантизм, но ты пишешь, что «настаивала» менеджера книжной лавки продлить кредит. Невозможно «настаивать» кого-то. Если ты хочешь употребить глагол «настаивать», добавляй предлог «на». Или же говори «убеждать». Конец лекции и до скорого.

(*отправлено Памеле Лёффлер*)

Нет смысла справляться о здешних новостях. Новости обычно не рождаются в этой части света, а если здесь все же происходит то, что становится новостями в остальном мире, мы узнаём об этом из зарубежных радиопередач. А передачи эти, разумеется,

полны разговоров о терроризме. Для большинства европейцев и американцев слово «террорист» безоговорочно предосудительно, в то время как для местных оно означает патриота. Так что действия, которые один находит преступными и презренными, для другого – героические. Могут ли такие люди вести хоть какой-то диалог?

Театральное агентство в Сиднее! И не ведал, что бывают такие. Понимаю, почему ее зовут Фронда Фаркхар, раз она оттуда. Рассказ о том, как ты устраивала пикники, звучит, как нечто из Во или раннего Энгуса Уилсона. Как же ты выдержала всех троих, – и эту Ф. Фаркхар, и Рут П.? Подозреваю, что Дик отказался идти с тобой потому, что ему не хотелось слишком далеко удаляться от источника снабжения: твоего холодильника. Он всегда был обжорой. Не спрашиваю твоего мнения об этом: ты так далеко, что невозможно задавать тебе неуместные вопросы. Но, должно быть, после их отъезда тебе стало намного легче, несмотря на одиночество и тоску по ним. Впрочем, не могу поверить, что ты по-настоящему тоскуешь по этой троице. Разве скучаешь не по человеку, какому угодно, с которым можно поговорить? Это не случайный вопрос, между прочим, и я его тебе задаю, поскольку мне пришло в голову, что Сью Чоат, правнучка сестры моего отца, собирается к подруге по колледжу в Гонолулу и могла бы тебя навестить. (Кажется, я говорил тебе, что оплачиваю ее учебу, так что немаловажно, где она проводит каникулы.) В прошлый раз, когда Сью уезжала из Штатов, она отправилась на Гаити и подцепила гепатит. Разумеется, невозможно требовать от семнадцатилетней девушки предусмотрительности в таких делах. Гаити недалеко, ее пригласили, выглядело заманчиво, вот она и поехала.

Дай мне знать, что ты об этом думаешь. Полагаю, это развлечет вас обеих. Она очаровательна, живая

и очень симпатичная. Болтушка, но умница, и от нее легко отделаться. (Описываю ее, какой она была в пятнадцать лет; с тех пор я ее не видел.)

Если ты ожидаешь наплыва гостей и Сьюки будет помехой, это, конечно, другое дело. Но дай мне знать, когда сможешь, чтобы я начал планировать ее лето.

Что сталось с теми людьми из Калифорнии, которые жили всего в шести милях от тебя? Они не любят пикники?

Прикладываю листок с адресом и номером телефона Сью в Маунт-Холиоке, на всякий случай.

(*отправлено Сьюзан Чоат*)

Очень мило, что ты ответила так быстро, хотя я вовсе не рад известию, что ты продала кафтан. И даже не надев его! Согласен, что ты получила за него невероятную сумму. Твоя подруга Майра, должно быть, купается в долларах. Но я посылал его не для того, чтобы ты его продала и тратила деньги. Я надеялся, что это будет нечто особенное в твоем гардеробе. Ты говоришь, что человеку следует научиться расставаться с вещами, если у него нет средств, и что тебе было стыдно просить у меня денег, раз я плачу за больницу. Все это я полностью поддерживаю. И все же мне жаль, что ты не посоветовалась со мной, прежде чем продавать кафтан. Я бы попытался тебя отговорить, хотя и не смог бы послать тебе двенадцать сотен, которые ты за него получила… во всяком случае, не сразу, как ты, очевидно, хотела.

Ты обдумала планы на лето? Хотя я и очень хочу тебя увидеть, приезжать сюда не советую. Здесь, боюсь, тебя мало что привлечет. Отели относительно недороги, да, но не столь дешевы для моего бумажника. А друзья, державшие пенсионы, где ты могла бы жить бесплатно, умерли или уехали.

Мне пришло в голову, что тебе придется по душе путешествие на Гавайи. Знаю, что предложение,

появившееся немедленно после песни о нищете, звучит абсурдно. Но там я кое-кого знаю, она могла бы тебя пристроить и, быть может, сделать это с удовольствием. Ты с ней не знакома, но, возможно, помнишь, как я говорил о ней, когда ты была маленькой. Хотя, скорее всего, не помнишь. Тогда твое лето мне обойдется всего лишь в билеты на самолет и обратно и, что еще важнее, я не буду волноваться, что ты улизнула в Мексику, на Ямайку или, не дай бог, на Гаити. Ты, конечно, сама знаешь, чего хочешь и как тебе лучше проводить каникулы. Это лишь одно предложение; другие могут появиться со временем.

Должен добавить: я одобряю твою заботу о деньгах и понимаю, что ты продала кафтан, дабы мне помочь, так что не слишком огорчаюсь, что ты его не надевала и у меня нет фотографии, на которой ты в нем позируешь. Почта работает, между прочим, хуже обычного.

(*отправлено Сьюзан Чоат*)

Не могу не удивляться, отчего тебе так хочется знать, сколько я заплатил за этот кафтан. Очевидно, ты надеешься, что совсем немного, словно это оправдывает продажу. У тебя нездоровая логика. Вопрос не в том, сколько я за него заплатил; скорее, вопрос в том, сколько заплатила за него ты, и ответ – ничего. Таким образом, ты выручила свои двенадцать сотен и не должна ломать голову над тем, во сколько он обошелся мне. Понимаю ход твоих мыслей и полагаю, что он демонстрирует семейную солидарность, то бишь «все мое – это наше». Поскольку ты практически ни о чем другом не говоришь в своем коротком письме, могу предположить, что тебе важно знать, насколько цена, за которую ты его продала, превышает ту, за которую я его купил. Ты хочешь знать, сколько «мы» заработали на этой сделке. Так что, хотя ты, похоже, не знаешь, что неприлично интересоваться стоимостью подарка, думаю, ты заслуживаешь ответа, поскольку заработала «нам» почти тысячу, если не считать стоимости пересылки. Тебя это радует?

Видимо, ты не очень серьезно восприняла мой совет поехать на Гавайи. Понимаю отчего, после всех наших разговоров о нехватке денег. И все же я предлагал это на полном серьезе, как решение проблемы каникул. Понимаю, что тебе не очень хочется гостить у женщины, которую ты не знаешь. Но Памела, что называется, беззаботная – терпимая и общительная. Возникает впечатление, что она на двадцать лет моложе. (Ей под шестьдесят, и, наверное, она делала пластические операции, хотя сомневаюсь. О таких вещах она не стала бы распространяться.) Я описал ее так, что ее хочется избегать? Надеюсь, что нет, поскольку я был бы счастлив, если бы ты провела лето у нее. Кроме решения проблемы каникул, твое пребывание там было бы полезно и в других отношениях.

Или, быть может, я сошел с ума, и в таком случае, все, что я говорю, не имеет значения.

Как бы то ни было, дай знать.

(*отправлено Сьюзан Чоат*)

Твой друг Макколл выглядит редкостным хамом. Почему он отвез тебя в Хартфорд, если знал, что тебе придется возвращаться на автобусе, и заранее тебя не предупредил? Тебе это не кажется необычным: полагаю, столь безответственная грубость входит в сегодняшний этикет. Я это привлекательным не считаю; впрочем, молодые люди из кожи вон лезут, чтобы выглядеть как можно непривлекательней – и внешне, и в манерах. Так что твой друг из Амхерста, возможно, не хуже прочих.

Вижу, ты немножко думала о Гавайях. И все же ты ошибаешься, используя слово «приказ» и предполагая, что я на тебя «давлю», как ты выразилась.

Приказывать – это одно, а попросить об одолжении – совсем другое. Возможно, я неясно выразился в последнем письме. Остановившись у Памелы, ты получишь возможность, коли поведешь себя разумно, обрести финансовую поддержку на следующий год. Тебе это не пришло в голову в силу твоей юной невинности. Но пришло в голову мне, и я считаю это вполне возможным. У Памелы больше денег, чем она способна потратить, и она щедра. Мы с ней, как тебе известно, старые друзья, и если ты ей понравишься и она решит тебе помочь, она будет знать, что помогает также и мне. Разумеется, когда ты приедешь, ты сама решишь, как все устроить. Вопрос в том, как выбрать правильный момент, чтобы раскрыть карты. Ясно, что твоя поездка в моих интересах (и, полагаю, еще больше в твоих собственных).

Поразмысли и, когда придешь к решению, сообщи мне. Но не затягивай надолго.

(*отправлено Сьюзан Чоат*)

Памела отнеслась вполне благосклонно. Она попросила меня передать, что будет рада, если ты останешься у нее на любой удобный тебе срок – на все лето, если хочешь. Она свяжется с тобой напрямую, как только узнает о твоем решении. Но если ты решила поехать, немедленно телеграфируй ей или позвони до того, как сообщишь мне. Поскольку, если ты примешь ее приглашение через меня, это займет остаток лета. Массачусетс – Марокко, Марокко – Гавайи.

Если у меня будет доступ к телефону, я тебе позвоню. А если отправка телеграммы не потребует часового стояния в очереди, я тебе ее пошлю, и таким образом мы сэкономим массу времени. Но я на это не рассчитываю.

В любом случае, механизм запущен. Жду от тебя известий.

(*отправлено Сьюзан Чоат*)

Великолепные новости в твоем письме. Слава богу, что существует Люси Пайпер! Зная, что у тебя есть подруга на Гавайях, я пошел на риск и приврал Памеле, сообщив ей, что семья этой девочки пригласила тебя погостить. Мне нужен был предлог, чтобы Памела пригласила тебя на Мауи. (Раз уж ты все равно собираешься на Гавайи и т. п.) Теперь, в конце концов, выяснилось, что это не ложь. Две недели в Гонолулу должны быть хороши, особенно если там не будет ее родителей. Пайперы, насколько я понимаю, в высшей степени милые люди, но все же обычно лучше, когда родственников поблизости нет.

Я велел нью-йоркскому банку перевести тебе пятнадцать сотен. С тем, что у тебя есть, этого должно хватить на билет в оба конца. Пришли мне телеграмму, когда окажешься в Сан-Франциско перед полетом на Гавайи. Больше ничего писать не буду, хочу лишь сообщить, как я рад, что ты решила поехать.

(*отправлено Сьюзан Чоат*)

Телеграмма, которую послала тебе Памела, в сущности, идентична той, что она отправила мне. Она заберет тебя у Пайперов 20 июня, и вы полетите на Мауи. Это идеальное решение. В высшей степени удачное. Она и без того собиралась провести эту неделю в Гонолулу, так что ничем не жертвует ради тебя. Все на редкость удачно сложилось.

Относительно твоих треволнений, скажу: возможность, что Памелу будет раздражать твое присутствие, равна нулю. Будет ли она раздражать тебя – как знать? Но очень маловероятно.

Что ты имеешь в виду, говоря об «условностях», которые следует соблюдать с Памелой? Разумеется, таковых нет. Сориентируешься на глазок. Как я могу отсюда советовать или навязывать тебе стиль поведения? Или предвидеть замысловатую хореографию

уловок и притворства, из которых будут состоять ваши разговоры? Женщины знают, как общаться друг с другом, и не нуждаются в мужском совете.

Не думай сейчас об этом. Это только помешает твоей учебе. Позднее еще будет время. Заканчивай дела и поезжай с Люси Пайпер. Надеюсь, с ней приятно путешествовать.

Постскриптум: Уничтожай мои письма, когда прочитаешь. Их будет не так уж много, в любом случае. Лето слишком коротко.

(*отправлено Памеле Лёффлер*)

Итак, все сложилось, grâce à Dieu,* и теперь Сьюки у тебя. Ты можешь оценить ее первую реакцию на новую обстановку? Спрашиваю тебя, потому что не ожидаю, что она тщательно все опишет, если вообще решит мне написать. Слегка удивлен, что она не прислала даже пару слов. Видимо, сочла, что твоего письма будет достаточно.

Раз у нас зашла речь о Сьюки,– я очень рад, что ты находишь ее общительной. С молодыми людьми никогда не знаешь наверняка; их настроение столь изменчиво. Слишком долго она была одна. Ее родители умерли, когда ей было двенадцать, и с тех пор я видел ее лишь один раз и то коротко. Она неизбежно изменится.

Гашиша как такового в Марокко никогда не было: это американцы впервые смастерили его здесь. Киф летучий, а они искали более компактную и прочную форму, так что использовали пресс. Вот и получился эрзац гашиша. Марокканцы, не знавшие гашиша, хорошего или плохого, переняли эту манеру и обнаружили, что товар можно продать за границу. С тех пор они прессуют этот дурной продукт и наживают состояния на его экспорте. Существует прямая связь

* Слава Богу (*фр.*).

между экспортом гашиша и повсеместностью коррупции. Крупная сумма может заткнуть рот кому угодно. Наверняка там, где ты живешь, все совсем по-другому; ты что-нибудь знаешь об этом? То есть – больше, чем можно прочитать в газетах?

Предложи Сью написать мне хотя бы записку, если она найдет время в промежутке между свиданиями. Два дружка? Кто они? Я-то воображал, что ты живешь в изоляции. Выходит, нет.

С чего ты взяла, что я «одержим» девочкой? Если ты намекнула об этом ей, она неизбежно увидит все во фрейдистском свете. Это даст ей отличный предлог не писать мне. Да и как ей понять по-другому? И в каком смысле ты это говоришь, скажи на милость? «Одержимость» – слово, которое употребляют слишком часто.

(*отправлено Памеле Лёффлер*)

Поневоле тревожусь, поскольку не получил ни слова от Сью. Знаю, ты говоришь, что у нее все хорошо, но я в этом не убежден. Будь она такой, как всегда, она бы написала. Ясно, что-то беспокоит ее, и она не решается сказать это мне,– не просто чепуха, которой она пичкает тебя, о том, что я ее «запугал». Она знает, что это смехотворно. Как она может говорить, что я «авторитарный»? Мы несколько лет не встречались, а по переписке никого запугать невозможно.

Что на нее нашло? Сложность в том, что ты ее не знаешь, так что не можешь уловить мелкие перемены, которые случились с ней в последнее время. Ты пыталась убедить ее сесть и нацарапать несколько слов?

Само собой разумеется, я не ожидаю, что ты примешься выбирать для нее друзей. Я вовсе не возражаю, чтобы она встречалась с японцем-механиком три вечера в неделю, да хоть бы и каждый вечер, так

что на мой счет беспокоиться тебе не следует. Пожалуйста, пойми, что я ни в коей мере не считаю тебя ответственной за ее поведение. Она достаточно взрослая и может все решать сама. И, как несомненно она тебе сообщила, она – сторонница женского «освобождения».

(*отправлено Сьюзан Чоат*)

Видел сегодня утром нечто забавное. Два мальчика лет пяти играли в корриду. Быком была детская коляска с пристегнутым младенцем под одеялами, а тот, кто ее толкал, отчаянно пытался пронзить тореадора, который увертывался и уходил от удара. В какой-то момент бык сделал отчаянный рывок и помчался с такой силой, что врезался в телеграфный столб. Тореадор был в восторге. Младенца тряхнуло, но он остался невредим.

Напиши пару слов о том, где ты живешь, как все выглядит. Не забудь, что я там никогда не был и мне интересно. Несколько строк личных впечатлений интереснее многостраничной статьи о путешествиях. Я не прошу эссе, достаточно и двух абзацев. Один о Гавайях, другой о Памеле. Finis.

(*отправлено Сьюзан Чоат*)

Ну вот – ты пишешь мне только теперь, когда уже собралась уезжать, так что я даже не уверен, что ты успеешь получить это письмо. По крайней мере, честно объяснила свое молчание: ты слишком хорошо проводила время. Это, разумеется, лучшая причина, и я рад, что все обернулось именно так. Было бы ужасно, если бы ты возненавидела все вокруг и тебе наскучила бы Памела. Но что за удивительное ты существо – заставила меня ждать все лето один листок, который написала за пять минут.

Последней твоей весточкой была телеграмма, посланная из Сан-Франциско, так что я понятия не имел о твоих финансовых делах и даже не знал, купила ли ты билет в оба конца. Оставалось только изрядно побеспокоиться, а потом отнестись ко всему философски. Подозреваю, что философия – всего лишь подавленное беспокойство. Будь это телефонный разговор, я бы сказал: «Дай мне поговорить с Памелой». Так что я поговорю с ней – в письме, которое напишу, как только положу в конверт это. Счастлив, что ты довольна своими каникулами.

(*отправлено Памеле Лёффлер*)

Только что завершил послание преступнице. Как ты, должно быть, знаешь, она наконец-то решила написать мне перед возвращением в колледж. Описывает все в восторженных тонах – особенно тебя, причем сделала несколько проницательных наблюдений, исключительно благосклонных. Думаю, она уловила спектр твоей личности со всей ее сложностью, и за это ставлю ей высшие отметки. Вижу из твоего последнего письма, что тебе понравилось принимать ее у себя.

Заботит ли ее вообще мысль о деньгах? Если она была благоразумна, у нее осталось более чем достаточно на обратную дорогу в Массачусетс. В любом случае, если получишь это письмо вовремя и решишь, что ей следует иметь чуть больше, снабди ее, пожалуйста. Я возмещу незамедлительно.

Вскоре попытаюсь написать настоящее письмо, каковым это не является. То, что я называю настоящим письмом, должно быть сочетанием личного разговора, хроники (что именно случилось) и дневника (что ты думаешь о том, что случилось). Ну, уж как есть.

(*отправлено Памеле Лёффлер*)

Действительно, дурные новости в твоем письме. Ты в самом деле довольна врачом? Спрашиваю потому,

что он, похоже, не уверен, действительно ли это возвратный гепатит, которым она заразилась на Гаити, или простая дизентерия (неамебная, я имею в виду).

Бедная Сьюки! Вели ей отдохнуть и не волноваться из-за того, что она опоздает на занятия. Она с легкостью наверстает.

Любопытно, пришло ли в голову твоему врачу, что у нее, быть может, солнечный удар. Ты говорила, что она часами лежит на пляже. Ее симптомы слегка похожи на мои, когда меня ударило солнце на Кубе. В подобных случаях я жалею, что у меня нет телефона. Телеграфируй мне, если ее состояние внезапно ухудшится.

Видел нечто невероятное во французском журнале на прошлой неделе. Брали интервью у друга де Голля. Вопрос: «Так де Голль не был антисемитом?» Ответ: «Ну, в 1940 году, помню, Андре Моруа пришел и хотел поговорить с де Голлем с глазу на глаз. Генерал повернулся к кому-то рядом и спросил: „А что тут делает этот жиденок?“ Но у него просто была такая манера выражаться. Де Голль никогда не был антисемитом». Мелочи вроде этой придают жизни смысл.

Собака может быть лучшим другом человека, но только если у нее есть хозяин, который ее кормит. Здесь бездомные собаки опасны. Они сбиваются в стаи по пятнадцать-двадцать и завели привычку с наступлением ночи нападать на привязанных ослов. Толпятся возле морды осла, пытаясь добраться до его шеи. Тот отступает и медленно обматывает цепь вокруг дерева. Обездвиженный, он принадлежит собакам, и те его пожирают. В Танжере раньше был собаколов, который запихивал бездомных псов в грузовичок и отвозил в приют. Теперь больше нет ни ловца, ни приюта. Собаки считаются природной опасностью, как кабаны или змеи.

Надеюсь, для тебя было не очень обременительно терпеть Сьюки, прикованную к постели. Мне жаль, что я сам поневоле взвалил это дело на тебя. Ты ангел, как всегда. Напиши мне поскорее.

(*отправлено Памеле Лёффлер*)

Твой рассказ о здоровье Сью звучит безрадостно. Разумеется, она мне не написала ни слова, но я вряд ли мог на это рассчитывать, раз она скверно себя чувствует. Она знает, что ты со мной в контакте.

Итак, теперь нанесла визит Флоренс – и без предупреждения. Естественно, она защищается историей о том, что якобы послала письмо из Санта-Барбары, хотя и видит, что оно не пришло и через три дня после ее прибытия. И, разумеется, приехала как раз тогда, когда у тебя лежит больная Сьюки. Знаю, ты говоришь, что гости тебе никогда не мешают, но всегда уходит много времени на заботу о больном человеке, и я надеюсь, что теперь-то уж наша больная встала на ноги. Уже почти месяц, как она слегла с тем, что у нее было.

И до сих пор врач не может определить, что же с ней такое? После всех анализов? По-моему, это неслыханно, однако, по-твоему, видимо, нет, раз ты лишь кротко цитируешь его, точно он сам Пастер. Поразительно, с какими неудобствами связана жизнь в Каулуи. Как видишь, чужие болезни приводят меня в ужас. Я, скорее, согласен заболеть сам, нежели опекать страдальца.

А что ты? Все нормально? Жаль, что каникулы Сью закончились так. Надеюсь, сейчас она уже на пути в Маунт-Холиок.

Ну а я буду ждать от тебя вестей. И расскажи побольше о Флоренс. Она всегда меня занимала. (На расстоянии.)

(*отправлено Памеле Лёффлер*)

Ты так же плохо себе ведешь, как и сама Сьюки, если не хуже, поскольку, насколько мне известно,

ты в добром здравии, тогда как я должен заключить, что она все еще хворает, раз не услышал обратного. Как ты могла за целый месяц не написать мне ни словечка? Я не браню тебя, но мне любопытно и в то же время горько. У меня смутное ощущение, что, несмотря на то, что я, как ты выразилась, «одержим» Сьюки, ты полагаешь, что в глубине души она меня не волнует.

В самом деле, я в сущности ее не знаю – не было возможности. Но не в этом дело. Я взял на себя ответственность за ее обучение и хочу, чтобы оно продвигалось успешно. Разумеется, ты можешь это понять.

Просыпаясь сегодня утром (мгновение, когда вещи далекого прошлого вдруг проявляются во всех подробностях), я вспомнил первые строки двух песен, которые пела мама, когда я был совсем маленький. Это были, как я сейчас понял, песни отказа. Одна начиналась: «Забери свое золото, ведь золотом меня не купишь», а вторая, еще более нелепая: «Не хочу играть в твоем дворе, я тебя больше не люблю». По ее словам, это были очень популярные песенки. Слышала ли ты их когда-нибудь?

Тороплюсь закончить это письмо, поскольку питаю жалкую надежду, что, если ты еще не написала, мои мольбы заставят тебя это сделать. Расценивай эту записку как одну долгую мольбу. Расскажи мне о Сью!

(*отправлено Памеле Лёффлер*)

Твоя открытка с Фиджи выглядит пощечиной. Ты думаешь, что меня «позабавит» известие о том, где ты находишься, но это не так. Я потрясен и возмущен, что ты потащила Сью в путешествие на юг Тихого океана, когда ей надо быть в колледже. И я не поддерживаю твою теорию, что такая поездка способствует ее выздоровлению. Думаю, на самом деле и ты в это не веришь. Наверняка ты воображаешь, что люди в преклонном возрасте становятся наивными. Или это замечание было первым предлогом, который пришел тебе в голову? Ты находишь странным, что, потратив столько нервов, времени и денег на ее образование, я хочу увидеть, как она его завершит?

Само собой разумеется, этот год потерян. Меня потрясает, как безответственно с твоей стороны взять девочку под свое крыло и потащить ее бог знает куда и бог знает на сколько.

Полагаю, в ближайшие недели это письмо ты не получишь. Скажи С., как я огорчен, что она абсолютно не заботится о собственном благополучии. Скажи ей, что я рад ее выздоровлению (если в самом деле она была больна, как ты мне внушала), и скажи ей, что, когда она даст о себе знать, я отвечу. Но, возможно, она считает себя виноватой и не хочет со мной общаться.

Я отойду от шока и возмущения, но не сразу.

(*отправлено Памеле Лёффлер*)

За последние десять недель получил три твоих открытки с Фиджи, Апии и Папеэте плюс жалкую попытку Сью сострить: «Замечательно провожу время. Рада, что тебя здесь нет». Скажи ей, что это послание не считается. (Хотя я подметил, что в твоем присутствии она чувствует себя неуязвимой и потому демонстрирует враждебность ко мне). Она должна написать мне письмо, если желает получить ответ.

Если ты соблюдаешь график, который описала в своей открытке, ты уже вернулась домой. Надеюсь получить от тебя известие.

По-прежнему не в силах понять, отчего ты отправилась в это бессмысленное путешествие. Возможно, когда ты обоснуешься снова, тебе захочется все объяснить. Или не захочется. Это не имеет значения. Думаю, общую схему я уловил.

(*отправлено Памеле Лёффлер*)

Кажется, мы зашли в тупик: взаимное непонимание, как следствие нпи (недостаточной предварительной информации). Ты протестуешь против всего, что я говорю. Ты безрассудна. У меня сложилось впечатление, что вы обе объединились против меня. Также вижу, что С. полностью тебе доверяет, причем – в ущерб мне. Я действительно сказал ей, что ты щедра, каковой ты всегда и была.

Моей ошибкой, думаю, было то, что я посоветовал ей уничтожить мои письма. Это глупо, поскольку в них не говорилось ничего предосудительного: уверен, ты бы с этим согласилась, прочитав их. Но должно быть, они сбили ее с толку, так что теперь она воображает, будто я использовал ее как «пешку» в своем собственном «финансовом планировании». Тебе должно быть ясно, что эти аргументы неоправданны. Если тебе не ясно, я с этим ничего поделать не могу, и это не имеет значения.

Получил короткое послание от Флоренс – первое как минимум за пятнадцать лет. Она хочет уведомить меня, как отлично проводила время с тобой и как ей понравилась Сью. Полюбила климат, пейзаж, пикники, купание, но случайно позабыла и слово сказать, что кто-то болен и прикован к постели. По ее словам, вы всюду ходили вместе, и это было великолепно. Изрядно расходится с официальной версией.

(*отправлено Памеле Лёффлер*)

Несколько посмертных соображений. Можешь сообщить Сью, что я написал ее тетке Эмили Уэст (которая стала ее опекуншей после смерти родителей) и сообщил, что племянница бросила колледж и поселилась на Гавайях, где ее и можно отыскать. Я также связался с адвокатом в Нью-Йорке и известил его, что мои финансовые обязательства перед Сьюзан Чоат прекратились с завершением ее академической карьеры, и попросил прекратить какие-либо отчисления в дальнейшем.

Что же касается возможности написать непосредственно Сью, не вижу в этом смысла. Она ясно дала понять, что не хочет от меня ничего слышать. Что мне сказать в таком случае? «Надеюсь, ты не будешь сожалеть о своем решении»? Как ты мне сообщила, она уже подозревает, что я ее выбор не одобряю, так что все, что бы я ни сказал, превратит подозрение в убежденность. Трудно было бы уверить ее, что я не возражаю против того, как она поступит. Ей, возможно, приятно воображать, что я скандализирован ее поведением: так она получит больше удовольствия. Она ожидает, что я недоволен тем, что все вышло не так, как я предполагал. Но это лишь потому, что она меня не знает. Возможно, из-за моего архаичного эпистолярного стиля она вообразила, что я предвзятый и неуступчивый старый дурак.

В любом случае, пожалуйста, поверь мне, что она может влюбиться в японского механика из гаража, спать с тобой и выйти замуж за орангутанга, и мне это будет одинаково безразлично. Жизнь слишком коротка, чтобы затевать склоку.

1987

Ужин у сэра Найджела

В те времена в городе существовало два жестко разделенных социальным барьером мира – марокканцы и европейцы, причем последние во всех смыслах воспринимали первых как прислугу. Обычно европейское хозяйство обсуживали пять-шесть марокканцев. В большом доме, разумеется, требовалось гораздо больше, и к туземной рабочей силе обычно добавлялись европейский повар, экономка и шофер. Непостижимым исключением, согласно местным слухам, был дом сэра Найджела Ренфру: ему явно был необходим большой штат прислуги, однако говорили, что он обзавелся лишь одним слугой и служанкой. Эта аномалия безустанно обсуждалась в британской колонии, и доходили смутные слухи, что спартанское ограничение прислуги у сэра Найджела объясняется не просто скаредностью.

Год его прибытия в Танжер точно не известен; вроде бы, это случилось сразу после окончания Второй мировой войны. Наверняка он привез с собой изрядное состояние (законно или, что вероятнее, тайно), поскольку, не теряя времени, принялся строить большие многоквартирные дома на тогдашних городских окраинах. Вряд ли хоть одна из этих строек окупилась, ведь по всему городу пустовали десятки квартир.

Первые прямые свидетельства о сэре Найджеле дошли до меня от двух английских знакомых, приглашенных к нему на обед. Они дожидались его полтора часа, и, появившись наконец, он не попросил прощения и не предоставил никаких объяснений; после этого они еще полчаса ожидали, когда единственный слуга накроет стол и принесет еду. Их рассказ об этом испытании был лаконичен: они сошлись на том, что сэр Найджел «невыносим». Насколько мне известно, ни один больше не посещал его дом. Но это не удержало меня два или три года спустя, и вместе с группой британских и канадских журналистов я принял приглашение на ужин у сэра Найджела.

Нам пришлось оставить машины вдали от дома и пройти по неухоженному пастбищу, где бродили овцы. Было еще светло, но я поинтересовался вслух, как мы отыщем обратную дорогу в темноте. У одного журналиста очень кстати оказался с собой фонарик.

Затрапезный вид сэра Найджела удивил меня. Коротышка, очень худой, с морщинистым лицом и бесцветными глазками, посаженными совсем близко. Он уселся между двумя корреспондентами, которых явно хорошо знал, и разговаривал с ними, не обращая внимания на остальных. Я разглядывал его лицо и понял, что он не способен улыбнуться или не выглядеть постоянно недовольным. Он излучал враждебность, и гости это почувствовали: они перестали разговаривать друг с другом и сидели молча, прислушиваясь к скрипучему голосу хозяина.

Черный слуга принес виски, содовую и лед. Когда он вышел, сэр Найджел взмахнул руками:

– Видали? Я привез его с Занзибара. Это мой повар, дворецкий и садовник. Пять ваших мавров будут делать ту же работу. Шайка ленивых пидоров – слоняются, курят трубки и клянчат жратву. Никчемные мрази. – Он уставился на нас, словно подозревая, что мы – замаскированные марокканцы, и я заметил, что он уже пьян.

На полу в сумрачной части комнаты стояли несколько барабанов разных очертаний и размеров,

обтянутые шкурами зебр. Надеясь подать иную тему для разговора, я спросил сэра Найджела, привезены ли они тоже с Занзибара. Бросив на меня взгляд, полный острой неприязни и презрения, он буркнул только: «У меня там дом» и вновь принялся проклинать марокканцев.

О самом ужине помню только, что мы ели, сидя по трое на низких скамеечках за тремя низкими столиками, и чем дальше, тем возбужденнее становился наш хозяин. Он позабыл марокканцев и теперь осыпал проклятиями и непристойностями французов и испанцев. Они понятия не имеют, как управлять колонией или укрощать тупых и вялых туземцев. У меня возникла ни чем не подкрепленная уверенность, что нарастающий раж нашего Амфитриона объясняется его решением втянуть нас в какую-то пакость.

– Слушайте, он не в себе, – шепнул я сидевшему рядом канадцу. Тот кивнул, не отрывая взгляда от злобного лица.

Когда занзибарец принес фрукты, сэр Найджел вскочил.

– Через минуту, – крикнул он, – вы увидите такое, чего никогда не забудете, клянусь Богом. И помните: они сами согласились прийти.

С этими словами он выбежал из комнаты, а мы обменялись взглядами.

Вскоре донесся легкий шум. В стене за барабанами отдернулся занавес; не глядя на нас, вышла мускулистая высокая негритянка и зажгла в той половине комнаты несколько ламп. Затем повернулась, подняла занавес: пританцовывая, вошли пять девочек лет пятнадцати и опустились на пол возле барабанов. Они были в прозрачных белых платьях, волосы распущены по плечам. Трое были, что называется, ослепительные красавицы, две – просто хорошенькие. Зрелище впечатляющее. Сэр Найджел не ошибся, говоря, что мы его не забудем.

Девочки принялись беспорядочно стучать по барабанам, куда более громким, чем ручные барабанчики, на которых обычно играют марокканки; комната наполнилась неритмичным грохотом. Как и негритянка, впустившая их, они вели себя так, словно европейцы перед ними невидимы. Никто не проронил ни слова.

Внезапно перед нами возник сэр Найджел, размахивая длинным цирковым хлыстом. Он переоделся в бриджи и черные кожаные сапоги, а его лицо так угрожающе побагровело, что я испугался, не станем ли мы прямо сейчас свидетелями смерти сэра Найджела Ренфру от апоплексического удара. Хотя его движения казались беспорядочными, ему легко удавалось на редкость звучно щелкать хлыстом: именно это он и принялся делать над головами съежившихся девушек, которые, повизгивая от притворного ужаса, извивались у его ног среди барабанов.

Тут сэр Найджел громко заорал, и в ответ девушки накинулись друг на друга, вцепились в волосы, разрывая лифы тонких платьев и истошно, душераздирающе вопя. Сэр Найджел бегал вприпрыжку, похрюкивая и щелкая хлыстом, и время от времени на самом деле стегал одну из обезумевших девиц. Миг назад они дурачились, теперь же стали драться всерьез, визжа и царапаясь. Я не уловил никакого сигнала, но вдруг занавес вновь поднялся, к свалке одуревших девиц подступила негритянка, разняла их и поставила на ноги. Потом втолкнула их за занавес, и мы остались с сэром Найджелом, который направился в нашу сторону, все так же щелкая хлыстом.

После своих упражнений он едва дышал.

– Ну вот, они заперты в своих комнатах. – Он щелкнул над нами хлыстом и, вглядываясь в наши лица по очереди, вытащил из кармана массивный ключ и потряс им перед нами. – Но если кто-то захочет провести время с девчонкой, вот общий ключ. – Его

глаза вспыхнули: это был взгляд разъяренного шимпанзе. Я понял, что для него это кульминация вечера. Остальные восприняли это так же, ибо никто ничего не сказал и повисла долгая тишина. Тогда сэр Найджел выдавил презрительно: «Ха!» и отшвырнул хлыст к барабанам.

– Боюсь, мне пора в гостиницу, – произнес кто-то. Раздалось согласное бормотание, мы все встали и принялись благодарить хозяина, который проводил нас к двери. Он согнулся в поклоне.

– Спокойной ночи, – произнес он медоточиво. – Спокойной ночи, грязные свиньи, спокойной ночи.

Пока мы шли по темному пастбищу, один англичанин, знавший сэра Найджела, поведал нам некоторые подробности. И вправду, девушки добровольно приходили сюда из деревень на окрестных холмах. Каждую запирали на месяц, а перед уходом дарили дорогой кафтан – вещь, которую иным образом она бы и не мечтала получить. Надежда раздобыть этот наряд и заставляла девушек приезжать в Танжер и разыскивать сэра Найджела. Обращались с ними не так уж дурно, объяснил англичанин. Каждой выделяли комнату на стороне прислуги, а негритянка их кормила. Теперь я понял, отчего у сэра Найджела не было марокканских слуг: с ними бы такое не прошло. Узнай хоть один марокканец, что творится в доме, немедленно разразился бы скандал.

Как и можно было предугадать, гроза через несколько месяцев грянула, и нетрудно предположить, что вышло это из-за девушек. Сэр Найджел уехал из страны и отсутствовал несколько лет. Но он все же вернулся, чтобы умереть от инфаркта за столом на террасе «Кафе де Пари», в центре Танжера, средь бела дня.

Слишком далеко от дома

I

Днем в ее комнате было четыре стены, и они заключали ограниченное пространство. Ночью же комната вытягивалась до бесконечности в темноту.

– Если москитов нет, зачем нам сетки?

– Кровати низкие, и сетки нужно подтыкать под себя, чтобы рука не выпала и не коснулась пола, – ответил Том. – Мало ли что там ползает.

В день ее приезда он первым делом показал комнату, где она будет спать, и провел по дому. Многие помещения были пусты. Ей показалось, что бóльшую часть здания занимает прислуга. В одной комнате вдоль стены сидели пять женщин. Ее познакомили со всеми. Том пояснил, что в доме работают лишь две, а еще две пришли в гости. Из другой комнаты доносились мужские голоса, которые мгновенно смолкли, как только Том постучал в дверь. Появился высокий, невероятно черный мужчина в белом тюрбане. Она мгновенно почувствовала, что ее присутствие его раздражает, однако он степенно поклонился.

– Это Секу, – сказал Том. – Он заведует здесь хозяйством. Возможно, тебе так не кажется, но он чрезвычайно смышлен.

Она нервно глянула на брата: видимо, тот понял почему.

– Не волнуйся, – прибавил он. – Здесь никто не знает ни слова по-английски.

Она не могла говорить об этом человеке, стоя прямо напротив него. Но когда они позже очутились на крыше под временным тентом, она продолжила разговор:

– С чего ты взял, будто я считаю твоего слугу тупым? Да, ты этого не говорил, но подразумевал. Ты же знаешь, я не расистка. Или ты сам считаешь, что он выглядит тугодумом?

– Я просто хотел, чтобы ты увидела разницу между ним и остальными, вот и все.

– А, – сказала она. – Конечно, разница налицо. Он выше, чернее, и черты у него тоньше, чем у других.

– Но есть и основное отличие, – сказал Том. – Понимаешь, он совсем не такой слуга, как все. Секу – это не имя, а титул. Он вроде вождя.

– Но я же видела, как он подметает двор, – возразила она.

– Да, но лишь потому, что ему так хочется. Ему нравится в этом доме. И я не возражаю против того, чтобы он здесь жил. Он держит остальных мужчин в руках.

Они подошли к краю крыши. Солнце слепило глаза.

– С трудом верится, – усмехнулась она. – У него лицо тирана.

– Сомневаюсь, что кто-нибудь из-за него страдает. Знаешь, – он вдруг повысил голос, – ты все-таки расистка. Если бы Секу был белым, эта мысль никогда не пришла бы тебе в голову.

Она стояла перед ним под палящим солнцем.

– Будь он белым, у него было бы другое лицо. Ведь выражение придают именно черты. И я готова побиться об заклад, что он просто держит людей в страхе.

– Вряд ли, – сказал Том. – Но даже если так – почему бы и нет?

Она вошла в дом и остановилась в дверях своей комнаты. Служанка повернула коврик и матрас на девяносто градусов. Это встревожило ее, хоть она сама и не знала почему.

II

Милая Дороти,

Меня потрясло твое письмо, написанное после аварии. Хорошо, что ты хоть не быстро ехала. Когда получишь мое письмо, твоя нога, вероятно, уже заживет. Хочу на это надеяться. Я всегда поражаюсь, что сюда вообще доходит почта, ведь это сущий край света. Как представлю, что ближайший город – Тимбукту, прямо сердце замирает. Правда, это быстро проходит. Не следует забывать, почему я оказалась здесь: тогда это казалось идеальным решением и, с учетом всего, действительно единственным выходом. Как бы иначе я вышла из депрессии после развода? Разве что надолго уехала бы в санаторий. Да и кто знает: возможно, даже это бы не помогло. В любом случае, с финансовой точки зрения это было аусгешлоссен*. Когда Том получил Гуггенхайма**, мы так обрадовались. Мы стремились убежать от всего, что могло бы как-либо напомнить мне о пережитом. Безусловно, это полная противоположность Нью-Йорку, да и любому другому городу США. Я волновалась насчет еды, но пока никто из нас не заболел. Самое главное – повар цивилизован настолько, что верит в существование бактерий и тщательно стерилизует все необходимое. В долину Нигера больных не пускают. К счастью, мы можем покупать французскую минеральную воду. Если ее доставка прервется или вода не прибудет вовремя, нам придется пить местную – кипяченую и с халазоном. Все это, возможно, звучит глупо, но здесь становишься ипохондриком. Быть может, тебя удивляет, почему я не описываю город,

* Исключено (*нем.*).

** Стипендия Гуггенхайма учреждена в 1925 г. Мемориальным фондом Джона Саймона Гуггенхайма и ежегодно присуждается выдающимся гуманитариям и деятелям искусства.

не рассказываю, как он выглядит. Попросту не могу. Мне кажется, я не сумею быть объективной, то есть после моего рассказа у тебя сложится еще более смутное представление об этом месте. Ты нескоро увидишь работы Тома, хоть он не написал пока ни одного пейзажа – рисует лишь то, что лежит на кухне: овощи, фрукты, рыбу да наброски с туземцами, купающимися в реке. Подожди, пока мы вернемся.

Элейн Дункан – какая-то чокнутая. Представь: спрашивает меня, не скучаю ли я по Питеру. Что у нее вообще в голове творится? Вначале я подумала, она меня подначивает, но потом поняла, что она совершенно серьезно. Наверное, у нее просто такой тип сентиментальности. Она ведь знает, что́ я пережила и чего мне стоило принять окончательное решение. Она также достаточно хорошо знает меня, чтобы понимать: раз уж я решила выпутаться из этого, значит, я осознала, что больше не могу оставаться с Питером, и, разумеется, не стану колебаться. Она, понятно, надеется, что я жалею о расторжении брака. Боюсь, ее ждет большое разочарование. Я наконец-то почувствовала себя свободной. Могу думать, как хочу сама, и никто не предлагает за мои мысли ни гроша. Том молча работает целыми днями и не следит за тем, говорю я или молчу. Так забавно жить с человеком, который не обращает на тебя внимания и даже не замечает твоего присутствия. Всякие угрызения совести рассеиваются. Это, конечно, очень субъективно, но в таком месте погружаешься в самоанализ.

Надеюсь, ты полностью оправилась от аварии и не переохлаждаешься. Здесь обычно чуть больше ста градусов по Фаренгейту*. Можешь вообразить, сколько во мне энергии!

Навеки твоя
Анита

* Около 37,8 °C.

III

Ночи тянулись медленно. Порой, когда она лежала в бесшумной темноте, ей казалось, будто ночь спустилась и так крепко обхватила землю, что дневному свету не пробиться. Возможно, уже наступил полдень, а никто об этом не знает. Люди будут спать, пока темно: Том – в соседней комнате, а Джохара и сторож, чьего имени она не могла запомнить, – в одной из пустых комнат через двор. Эти двое вели себя очень тихо. Рано ложились и рано вставали, и с их стороны дома доносился лишь нечастый сухой кашель Джохары. Аниту беспокоило, что в комнате нет двери. Дверной проем между ее и Томовой комнатами завесили темной шторой, чтобы ее не тревожил свет гудящей газовой лампы. Брату нравилось сидеть в кровати и читать часов до десяти, а ее сразу после ужина всегда клонило в сон, и приходилось ложиться в постель: Анита крепко спала два-три часа, после чего просыпалась и лежала в темноте, надеясь, что скоро утро. Крик петухов вблизи и вдали ничего не значил: они кричали в любое время ночи.

Поначалу ей казалось вполне естественным, что Джохара и ее муж – чернокожие. В нью-йоркском доме всегда жили двое-трое чернокожих слуг. Там она считала их лишь тенями людей, которые не чувствовали себя как дома в стране белых, поскольку не обладали общей с ними историей и культурой и потому становились чужаками поневоле. Однако мало-помалу она стала замечать, что эти люди были здесь хозяевами – знатоками местной культуры. Этого, конечно, следовало ожидать, но она с некоторым потрясением осознала, что реальные люди – чернокожие, а сама она – тень и что даже проживи она здесь весь остаток жизни, ей никогда не понять, что же творится у них в головах.

IV

Дорогая Элейн!

Я должна была написать тебе давным-давно, как только добралась сюда, но последние пару недель мне нездоровилось – впрочем, не физически, хотя плоть и дух неразделимы. Когда я подавлена, в моем теле все, похоже, выходит из строя. Наверное, это нормально, а может, и нет. Бог его знает.

Правда, когда я впервые увидела плоскую землю до самого горизонта, я почувствовала, как мое уныние растворяется во всем этом сиянии. Мне казалось, что так много света просто не бывает. Малейший звук заглушает тишина! Такое чувство, будто город выстроен на подушке безмолвия. Новое, изумительное ощущение, которое я сознавала очень остро. Казалось, будто все это как раз необходимо мне, чтобы отвлечься от развода и прочих неприятностей. Ничего не нужно делать, ни с кем не надо встречаться. Я предоставлена самой себе, и, если не хочется, можно даже не заботиться о слугах. Как ночевка в большом пустом доме. Разумеется, в конце концов, пришлось-таки заняться слугами, потому что они все делали не так. Том говорил мне: «Оставь их в покое. Они знают, что делают». Наверное, они знают, чего хотят, но, очевидно, просто не могут этого сделать. Если я жалуюсь на еду, кухарка смущается и обижается. Просто все в районе Гао считают, что ее кухня нравится европейцам. Она слушает и соглашается, словно успокаивает душевнобольную. Подозреваю, что она именно так обо мне и думает.

Том полностью это осознает и сосредоточивается на мельчайших деталях окружающей жизни, но умудряется воплощать эти детали, оставаясь снаружи и в стороне от них. Он рисует все, что попадается на глаза в кухне, на рынке или на берегу реки: разрезанные овощи и фрукты, нередко с торчащим из мякоти ножом, купальщиков и рыбу из Нигера. Беда в том, что эта жизнь поневоле увлекает меня. Я хочу сказать, что вынуждена включаться в некое коллективное сознание, которое терпеть не могу. Я ничего не знаю об этих людях. Они чернокожие, но совсем не такие, как «наши» чернокожие в Штатах. Они проще, дружелюбнее и открытее, но в то же время очень отстранены.

Здесь что-то не так с ночью. Логика подсказывает, что ночь – всего лишь время, когда небесные врата открываются и можно заглянуть в бесконечность, и поэтому точка, из которой смотришь, не имеет значения. Ночь есть ночь, откуда ни глянь. Ночь здесь ничем не отличается от ночи где-нибудь еще. Но это подсказывает лишь логика. День огромен и ярок, и нельзя заглянуть дальше солнца. Понятно, что под «здесь» я подразумеваю не «посреди Сахары на берегах Нигера», а «в доме, где я живу». В этом доме с ровными земляными полами, где слуги ходят босиком и никогда не слышно, как кто-нибудь приближается, пока он не войдет в комнату.

Я пытаюсь привыкнуть к здешней сумасшедшей жизни, но могу тебе сказать, что это не так-то просто. В доме множество комнат. На самом деле, он огромен, а комнаты большие. Без мебели они кажутся еще просторнее. Но никакой мебели нет, если не считать циновок на полу, где мы спим, ну и наших чемоданов и платяных шкафов, куда вешаем то небольшое количество одежды, что у нас с собой. Благодаря этим шкафам дом и удалось снять, ведь он считался «меблированным», и арендная плата была чересчур высока. По нашим меркам он, конечно, очень дешевый, да это и немудрено – ни электричества, ни воды, ни даже стула, обеденного стола или, на худой конец, кровати.

Естественно, я знала, что будет жарко, но я и представить себе не могла *такой* жары – плотной и неизменной изо дня в день: ни дуновения. Не забывай, что воды нет и даже просто обтереться мокрой губкой – целый ритуал. Том ангельски терпелив: он оставляет

мне всю воду, какая у нас есть. Говорит, что женщинам она нужнее, чем мужчинам. Не знаю, комплимент это или оскорбление, но мне все равно, пока у меня есть вода. Том говорит, что ему не жарко, но это не так. Я не умею переводить с Цельсия на Фаренгейт, но если ты умеешь, переведи 46°C, и поймешь, что я права. Именно столько показывал мой термометр сегодня утром.

Даже не знаю, что хуже – день или ночь. Днем, конечно, чуть жарче, хотя не намного. Окон здесь не признают, поэтому в доме темно, и такое ощущение, будто тебя держат взаперти. Том много работает на крыше – на самом солнцепеке. Он утверждает, что ему безразлично, но мне кажется, это вредно. Уверена: просиди я там так же, как он, несколько часов кряду, это свело бы меня в могилу.

Я не смогла удержаться от смеха, когда ты спросила в письме, каково мне после развода, не «скучаю» ли я хоть немножко по Питеру. Что за безумный вопрос! Как я могу по нему скучать? В моем нынешнем состоянии чем дольше я не увижу ни единого мужчины, тем лучше. Я сыта по горло их лицемерием и охотно послала бы их всех к черту. Кроме Тома, разумеется, ведь он мой брат, хотя жить с ним в таких условиях нелегко. Но жить в подобном месте и вообще тяжело. Ты представить себе не можешь, как это отдаляет от всего на свете.

Почта здесь не всегда работает исправно. Да и как могло быть иначе? Но она все же работает. Письма я получаю, так что без колебаний пиши мне. В конце концов, почтамт – тот конец пуповины, что связывает меня с миром (чуть не написала: *и со здравым рассудком*).

Надеюсь, что у тебя все хорошо, а Нью-Йорк ничуть не стал хуже с прошлого года, хоть я и уверена, что стал.

Пиши,
с искренней любовью,
Анита

V

Вначале были воспоминания – маленькие, точные образы, дополненные звуками и запахами конкретного случая в конкретное лето. Когда она переживала эти события, они не значили для нее ничего, но теперь она отчаянно стремилась остаться с ними, пережить их заново и не допустить, чтобы они растворились в окутывающей темноте, где память теряла очертания и вытеснялась чем-то иным. За воспоминаниями стояли какие-то бесформенные сущности, которые таили непостижимую угрозу, и у Аниты учащались сердцебиение и дыхание. «Словно кофе напилась», – думала она, хотя никогда его не пила. Еще пару минут назад она жила прошлым, а теперь ее со всех сторон обступало настоящее, и она сталкивалась лицом к лицу с беспочвенным страхом. Распахивала глаза и устремляла взгляд в черноту – на то, чего нет.

Аните не нравилась еда – по ее мнению, слишком острая из-за красного перца и в то же время безвкусная.

– Ты же понимаешь, – сказал он, – у нас самая известная кухарка в округе.

Она возразила, что в это с трудом верится.

Они завтракали на крыше – не под солнцем, а в злобном сиянии белой простыни, натянутой вверху. Лицо Аниты скривилось в отвращении.

– Мне жаль девушку, которая выйдет за тебя замуж, – внезапно сказала она.

– Это чистая абстракция, – ответил он. – Даже не думай. Пусть пожалеет себя сама, когда за меня выйдет.

– Разумеется, так и будет. Ручаюсь.

После очень долгой паузы он посмотрел на нее:

– Отчего ты вдруг стала такой воинственной?

– Воинственной? Я просто подумала, как тебе трудно выказывать сочувствие. Ты ведь знаешь, недавно мне нездоровилось. Но я не заметила ни капли

сочувствия. – (Она задумалась – правда, слишком поздно, – нужно ли было в этом сознаваться.)

– Ты совершенно здорова, – грубовато отрезал он.

VI

Дорогая Пег!

Том явно делает все возможное для того, чтобы каждый день хоть чем-то отличался от предыдущего. Устраивает прогулки к реке или поездки в «город», как он называет вереницу невзрачных лачуг вокруг рынка. Куда бы мы ни сунулись, я должна щелкать фотоаппаратом. Кое-что бывает забавным, но все остальное быстро надоедает. Ясно, что он изо всех сил старается разогнать мою скуку, т. е. проводит как бы терапию, но это, в свою очередь, означает, что он боится, как бы я не сошла с ума. Это меня и тревожит, поскольку между нами существует нечто, о чем нельзя говорить. Становится неловко, и напряжение усиливается. Мне хотелось бы повернуться к нему и сказать: «Расслабься, я не свихнусь». Но я хорошо представляю, какие губительные последствия вызовет такое откровенное заявление. Том лишь убедится, что я психически неуравновешенна, ну и, разумеется, нервное расстройство сестры способно испортить для него весь год. Почему должны возникать сомнения в том, что я абсолютно здорова? Наверное, все из-за того, что я боюсь его подозрений. Для меня невыносима сама мысль, будто я отравляю кому-то жизнь или что Том так думает.

Вчера мы с Томом бродили по берегу реки. Широкий пляж, покрытый засохшей грязью. Том уговаривал меня идти поближе к воде, где земля мягче, и говорил, что босиком удобнее. Но одному Богу известно, какие паразиты водятся в этой воде. Я вообще побаиваюсь ходить здесь босиком и уж тем более забредать в воду. У Тома лопается терпение, когда я излишне осторожничаю. Он утверждает, что это просто одна из сторон моего в целом негативного отношения к жизни. Привыкнув к его критическим замечаниям, я пропускаю их мимо ушей. Но одна фраза засела у меня в голове: он сказал, что чрезмерная сосредоточенность на себе неизменно приводит к неудовлетворенности и болезням. Он явно считает меня образцом эгоцентризма. Например, сегодня, поднявшись на крышу, я прямо заговорила с ним об этом, и у нас получился примерно такой диалог:

– Кажется, ты считаешь, что я не интересуюсь ничем, кроме себя.

– Да, именно так я и считаю.

– Что ж, ты бы мог быть и повежливее.

– Раз уж мы начали этот разговор, нужно довести его до конца. Скажи мне, что тебя интересует?

– Ты же знаешь, когда спрашивают напрямик, трудно вот так взять и назвать что-нибудь с потолка.

– Но это ведь означает, что ты ни о чем не можешь думать, разве не так? Все дело в том, что у тебя нет никаких интересов. Видимо, ты не понимаешь, что симуляция интереса разжигает его. Как в старой французской поговорке о том, что аппетит приходит во время еды.

– Значит, ты думаешь, что спасение – в притворстве?

– Да, и я не шучу. Ты ни разу не взглянула на мои работы и тем более не задумалась о них.

– Я смотрела все, что ты здесь написал.

– Смотрела, но видела ли?

– Как я, по-твоему, могу оценить твои картины? У меня слабое зрительное восприятие. Ты же знаешь.

– Меня не волнует, способна ли ты оценить их, да и нравятся ли они тебе вообще. Мы говорим не о моих картинах, а о тебе. Это просто маленький пример. Ты могла бы заинтересоваться слугами или их семьями. Или тем, как городская архитектура приспосабливается к климатическим условиям. Я понимаю, что это

довольно нелепое предположение, но на свете столько всего интересного.

– Да, если тебя вообще хоть что-нибудь интересует. В противном случае это сомнительно.

Согласившись приехать сюда, я знала (или была почти уверена), что меня ожидает что-то неприятное. Я понимаю, что пишу сейчас так, словно произошло какое-то страшное событие, тогда как в действительности ничего не случилось. И будем надеяться, что не случится.

С горячей любовью,

Анита

VII

Привет, Росс! Прилагаю рисунок с видом, открывающимся с крыши на юг. Смотреть там, правда, не на что. Хотя странно, какое значение приобретает одинокий человек на таком безбрежном просторе. Я никому не стал бы рекомендовать это место. Я не советовал его даже Аните, которая недавно приехала. Думаю, она здесь счастлива – насколько вообще может быть счастлива. Иногда капризничает больше, чем обычно, но я не обращаю внимания. Не думаю, что ей по нраву холостяцкая жизнь. Очень скверно, что она не подумала об этом заранее. Сам я почти ничем не занимаюсь, кроме живописи. Мне кажется, все будет хорошо. Забери меня Господь сейчас, это было бы великой милостью.

Том

VIII

Однажды утром, позавтракав и опустив поднос на пол рядом с постелью, она выбежала на крышу – на солнце и свежий воздух. Обычно она старалась не подниматься наверх, поскольку Том сидел там бóльшую часть дня – как правило, не работал, а просто сидел. Когда она как-то раз опрометчиво спросила, что он делает, то вместо фразы «общаюсь с природой» или «медитирую», как, возможно, ответил бы более претенциозный художник, он произнес:

– Ищу идеи. – Такая прямота была равносильна высказанному желанию уединиться, поэтому она уважала его уединение и редко поднималась на крышу. Однако в то утро Том не проявил недовольства.

– Сегодня я впервые услышала призыв к молитве, – сказала она. – Было еще темно.

– Да, иногда бывает слышно, – ответил он. – Если не заглушают другие звуки.

– Это вроде как утешило. Я почувствовала, что со всем можно справиться.

Похоже, он не обратил внимания на ее слова.

– Послушай, Нита, не могла бы ты оказать мне одну большую услугу?

– Ну конечно, – сказала она, не представляя, что за этим последует. Ничего подобного она не ожидала, особенно – такого непривычного вступления.

– Не могла бы ты сходить в город купить еще пленки? Я хочу сделать побольше снимков. Ты ведь знаешь, мама просила прислать наши с тобой фотографии. У меня куча фото, но нас – нет. Я мог бы сходить сам, да мне сейчас некогда. Еще ведь и девяти нет. Магазин, где продается пленка, – на другом конце рынка. Он работает до десяти.

– Но Том, ты, кажется, забыл, что я не знаю дороги.

– Ну и что – с тобой пойдет Секу. Не заблудишься. Скажешь, что тебе нужна черно-белая.

– Кажется, маме больше нравятся цветные.

– И впрямь. Старики и дети любят цвета. Купи две цветных и две черно-белых. Секу ждет тебя у входа.

Она огорчилась, что ей понадобился проводник до магазина, и даже еще больше расстроилась, что этим проводником стал чернокожий, который, как она уже решила для себя, настроен к ней враждебно. Но еще рано, и на улице будет относительно свежо.

– Только сними эти сандалии, – сказал Том, продолжая работать и не поднимая головы. – Надень толстые носки и нормальные туфли. В пыли бог знает сколько микробов.

Итак, она встала у двери в предписанной обуви, а Секу пересек через двор и поздоровался с ней по-французски. Заметив его широкую улыбку, она подумала, что, возможно, ошиблась и его вовсе не раздражает ее присутствие в доме. «А если и раздражает?» – подумала она с вызовом. Подавлять свой эгоизм можно лишь до известного предела. Чуть дальше вся эта игра в бескорыстие уже становится жалкой. Она знала, что в силу своей природы не желает признавать себя некой «личностью». Ведь гораздо проще спрятаться в нейтральной тени, даже если любое противостояние исключено. Вряд ли стоит волноваться о реакции африканского слуги. Ведь, несмотря на то, что сказал Том, она по-прежнему считала Секу своего рода доверенным слугой и, возможно, по совместительству – шутом.

Идти по главной улице города бок о бок с этим высоким чернокожим было безумием. Бог свидетель, странная парочка. Мысль о том, чтобы так сфотографироваться, заставила улыбнуться. Если послать этот снимок маме, Анита приблизительно знала, каков будет ответ: «Верх экзотичности». Безусловно, улица вовсе не казалась ей экзотичной или живописной: она была грязной и нищенской.

«Возможно, он попытается завязать разговор», – подумала Анита и решила притвориться, будто не понимает. Тогда можно будет просто улыбаться и качать головой. Он тут же что-то сказал, но, не собираясь обмениваться с ним ни словом, она ничего не разобрала. Через секунду Анита услышала от него фразу с вопросительной интонацией и догадалась, что он спросил:

– *Tu n'as pas chaud?**

Он замедлил шаг, дожидаясь ответа.

«Черт с ним», – подумала она и ответила на вопрос, хоть и не прямо. Вместо «да, мне жарко» сказала просто:

– Жарко.

Тогда он остановился и показал влево на закуток между грудами ящиков, где стояли стол и два стула. Место было полностью накрыто большой вывеской, и этот привлекательный тенистый уголок начинал непреодолимо к себе манить, стоило лишь представить, что можно шагнуть туда и ненадолго присесть.

С навязчивым упорством она обратилась мыслями к матери. Как бы та отреагировала, увидев свою единственную дочь рядом с чернокожим мужчиной в этом маленьком темном убежище? «Если он злоупотребит твоим доверием, помни, что ты сама напросилась. Не надо искушать судьбу. С подобными людьми нельзя обходиться, как с равными. Они этого не понимают».

Принесли «пепси-колу», на удивление холодную, но непривычно сладкую.

– О, – сказала она с благодарностью.

В отличие от Аниты, Секу бегло говорил по-французски. «Как такое может быть?» – подумала она с некоторым возмущением. Поскольку она сознавала, что сама говорит с частыми запинками, завязать беседу было еще труднее. Из-за этих пауз, когда им обоим нечего было сказать, молчание становилось более явным, а для нее – неловким. Уличные шумы – шаги по песку, беготня детей да изредка собачий лай – странно заглушались грудами ящиков и крышей над головой. «Поразительно тихий город», – размышляла она. С тех пор, как они вышли из дома, она не услышала ни единого звука автомобиля, даже

* Тебе не жарко? (*фр.*).

вдалеке. Но теперь, прислушавшись, различила далекое попеременное тарахтение и рев мотоцикла – звуки, особенно ей ненавистные.

Секу встал и пошел расплатиться с хозяином. Анита хотела сделать это сама, но было уже поздно. Она поблагодарила его, а затем оба вернулись на улицу, где было как никогда жарко. Самое время спросить себя, зачем она позволила Тому отправить ее с этим нелепым поручением. Лучше бы пошла в кухню и попросила кухарку не подавать жареную картошку. Похоже, эта женщина считала любые блюда из картошки самыми лакомыми, но из той, что росла здесь, можно было делать, пожалуй, только пюре. Анита не раз говорила об этом Тому, но, по его мнению, пюре лишь прибавило бы Джохаре хлопот, да и, скорее всего, она не сумела бы приготовить его как следует, и получилось бы еще хуже, чем сейчас.

Сумасшедший рев мотоцикла, напоминающий вой сирены, слышался теперь гораздо ближе. «Сюда едет, – подумала она. – Только бы успеть дойти до рынка, пока он не примчался». Однажды она покупала с Томом еду и помнила колоннады и столбы. Ни один мотоцикл там не проехал бы.

– Где же рынок? – неожиданно спросила она.

– Прямо, – махнул Секу.

Затем в конце длинной улицы показалась машина, похожая на дракона: она подскакивала и вздымала облако пыли, клубившееся впереди. Даже на таком большом расстоянии было видно, как пешеходы разбегаются с дороги.

Грохот неимоверно усилился. Ей вдруг захотелось заткнуть уши, как в детстве. Махина приближалась. Она ехала прямо на них. Анита отпрыгнула на обочину в тот миг, когда мотоциклист затормозил, чтобы не врезаться в Секу. Слуга даже не нагнулся, уклоняясь от удара. Яркий мотоцикл лежал в пыли, частично прикрывая голые ноги и руки ехавших. Два почти голых парня встали с красно-желтыми шлемами в руках. Они злобно глянули и заорали на Секу. Анита не удивилась, услышав американскую речь.

– Ослеп, что ли?

– Тебе еще повезло, сукин сын. Мы же могли тебя задавить!

Не обращая на них внимания, Секу шел дальше, и они начали ругаться:

– Деревня! Зазнавшийся ниггер!

Секу с величайшим презрением их игнорировал.

Анита шагнула с обочины им навстречу:

– Если уж говорить о том, кого вы могли задавить вашим чудовищным агрегатом, то первой по списку значусь я. Вы ехали прямо на меня. Кажется, это называется «сеять панику»? Вам что, нравится стращать людей?

– Простите, что напугали вас, мэм. У нас и в мыслях не было.

– Не сомневаюсь. – Теперь испуг перерос в негодование. – Я уверена, что в мыслях у вас – одна большая дыра. – Она не слышала извинений. – Вы уехали слишком далеко от дома, друзья мои, и нарветесь на неприятности.

Плотоядный взгляд:

– Да ну?

Она почувствовала, как внутри закипает гнев.

– Да! – закричала она. – Неприятности! И надеюсь, мне еще выпадет случай их увидеть. – Через минуту она сплюнула: – Уроды.

Секу, который ни разу даже не оглянулся на них, теперь остановился и обернулся посмотреть, идет ли она. Как только она догнала его, Секу промолвил, не глядя на нее, что все туристы – невежды.

Когда они добрались до магазина, где продавалась фотопленка, Анита с удивлением обнаружила, что им заведует француженка средних лет. Если бы

Анита не запыхалась от злости и волнения, то побеседовала бы с ней – спросила бы, сколько она уже здесь живет и какую жизнь ведет, но момент был неподходящий.

Пока они брели домой по усиливающейся жаре, адской махины больше не было ни видно, ни слышно. Анита заметила, что Секу чуть-чуть хромает и внимательно присмотрелась. Внизу белого халата заметила кровь и поняла, что мотоцикл наехал Секу на ногу. Ее любопытство, похоже, раздражало его, и Аните не хватило мужества попросить показать рану или хотя бы заикнуться о ней.

IX

За обедом она избегала любых упоминаний о случае с мотоциклом.

– Это ведь не далеко, правда?

– Жарко было, – ответила она.

– Я тут подумал, – наконец сказал Том, – этот дом можно было бы купить за бесценок. Он того стоит. Я не прочь приезжать сюда регулярно.

– По-моему, ты с ума сошел! – воскликнула она. – Ты ведь никогда не смог бы здесь жить. Это всегонавсего временная стоянка без удобств. Да и какую собственность ни купи в странах третьего мира, все равно потеряешь ее раньше, чем заплатишь. Ты же знаешь: благоразумнее снимать жилье. Тогда если начнется сумасшедший дом, останешься независимым.

Джохара встала рядом с ней и предложила еще лукового пюре – подавала она сама.

– Сумасшедший дом начинается не всегда, – сказал Том.

– Всегда! – отрезала Анита. – В таких-то странах? Это неизбежно.

Немного спустя она продолжила:

– Ну разумеется, поступай, как тебе угодно. Не думаю, что ты много потеряешь.

Когда ели фрукты, Анита снова заговорила:

– Прошлой ночью мне снилась мама.

– Правда? – равнодушно сказал Том. – Что же она делала?

– Даже не могу вспомнить. Но когда я проснулась, тотчас начала о ней думать. Ты же знаешь, она начисто лишена чувства юмора, но бывает очень остроумной. Помню, как однажды она давала весьма изысканный ужин и вдруг, повернувшись к тебе, спросила: «Сколько тебе лет, Том?» А ты ответил: «Двадцать шесть». Она немного помолчала, а потом сказала: «В твоем возрасте Вильгельм Молчаливый уже покорил пол-Европы». Она произнесла это с таким отвращением, что все за столом прыснули со смеху. Помнишь? Это до сих пор кажется мне смешным, хоть я уверена, что она вовсе не пыталась сострить.

– А во мне такой уверенности нет. По-моему, она играла на публику, хотя сама, естественно, не могла рассмеяться. Ниже ее достоинства. Однако не считала зазорным смешить других.

X

В другой раз они сидели на полу в комнате Тома и завтракали. Кухарка только что принесла еще тостов.

– Мне бы хотелось проехать пару миль вдоль реки и взглянуть на соседнюю деревню, – сказал Том, махнув кухарке обождать. – Как насчет прогулки? Я могу взять напрокат старый грузовик Бесье. Что ты на это скажешь?

– Я не против, – ответила она. – Дорога ведь прямая и ровная?

– Обещаю, что не заблудимся и не увязнем в песке.

– Ты хочешь посмотреть что-то конкретное?

– Мне просто нужно увидеть что-нибудь новое. Малейшая перемена пробуждает во мне разнообразные идеи.

Договорились съездить на следующий день. Когда Том попросил Джохару приготовить *casse-croûte*[*], кухарка оживилась, услыхав, что они собираются в Гаргуну. Сказала, что там живет ее сестра, объяснила Тому, как найти дом, и принесла записку, надеясь, что он передаст.

У маленького грузовика не было кабины. Их овевал встречный ветерок. Поездка ранним утром по берегу реки бодрила. Дорога была совершенно ровная – никаких рытвин или выбоин.

– Сейчас-то хорошо, – сказал Том, – а вот на обратном пути на солнцепеке будет похуже.

– У нас есть *топи,* – напомнила Анита, взглянув на два пробковых шлема на сиденье между ними. Она взяла с собой мощный бинокль, купленный в прошлом году в Кобэ, и, несмотря на тряску, без устали наводила его на реку, где рыбачили мужчины и купались женщины.

– Красиво, правда? – сказал Том.

– Конечно, гораздо милее с черными телами, чем с белыми.

То был лишь умеренный восторг, но Тому он, похоже, понравился. Ему очень хотелось, чтобы сестра полюбовалась долиной Нигера, но он старался не пропустить поворот налево к Гаргуне.

– Километров пятьдесят – плюс-минус, – пробормотал он и вскоре добавил: – Здесь, но я не рискну ехать по этому песку.

Он остановил грузовик и выключил двигатель. Тишина оглушила. Они сидели не шевелясь. Изредка с реки доносился чей-то вопль, но на открытом безбрежном просторе любые голоса казались птичьими криками.

– Одному из нас – точнее, тебе – придется остаться в машине.

Том спрыгнул на землю.

– Я пойду пешком, отыщу деревню и сестру Джохары. Это должно занять минут десять – может, чуть больше. Ты посидишь здесь, ладно?

Выехав утром, они еще не видели ни единой машины.

– Мы стоим прямо посреди дороги, – сказала она.

– Знаю, но если сдвинуться вправо, можно увязнуть в песке. А этого мне как раз и не хочется. Если вдруг занервничаешь, выйди и поброди вокруг. Еще не жарко.

Она не боялась остаться одна, но обстановка ее все же нервировала. Для этого случая Том вполне мог взять с собой кого-нибудь из мужчин – они ведь просиживали целыми днями в кухне. Неожиданно Аните пришло в голову, что она не видела Секу с того раза, когда их чуть не сбил мотоцикл, и она забеспокоилась: возможно, его нога или ступня серьезно повреждена. Размышляя о нем, Анита вылезла из машины и пошла той же дорогой, по которой отправился Том. Она не видела его впереди – лишь невысокие дюны, поросшие кое-где низким кустарником. Она задумалась, почему небо здесь не бывает по-настоящему голубым и всегда серого оттенка.

Надеясь хоть мельком взглянуть на Гаргуну, она взобралась на небольшой песчаный холм, но впереди лишь маячили высокие колючие кусты. Ей очень хотелось увидеть деревню, и она могла ее себе представить: ряд округлых хижин, разбросанных довольно далеко друг от друга, и перед каждой – расчищенная площадка, где клюют что-то в песке домашние птицы. Она повернулась направо, где дюны казались чуть выше, и пошла по тропинке, ведущей через и

* Легкий завтрак (*фр.*).

вдоль них. Дюны разделялись узкими расселинами, иногда очень глубокими. Все гребни располагались, похоже, параллельно друг другу, и чтобы перейти с одного на другой, приходилось спускаться и сразу же снова подниматься. Поблизости одна дюна возвышалась над остальными, и Анита не сомневалась, что сможет увидеть с нее грузовик, стоящий на дороге. Добравшись до нее и чуть-чуть запыхавшись, встала наверху. В бинокль она увидела, что грузовик – на месте, а слева вдали растет купа голых деревьев. «Деревня – с той стороны», – предположила Анита. Потом заглянула в расселину меж дюнами, и при виде бессмысленной скульптуры, покрытой алой эмалью и хромом, у нее екнуло сердце. Там внизу лежали огромные валуны: мотоцикл занесло, и два загорелых торса швырнуло на скалы. Машина причудливо искривилась, тела переплелись, и их равномерно забрызгало кровью. Звать на помощь было уже поздно – тела неподвижно лежали под откосом, невидимые никому, кроме того, кто встанет точно там же, где она. Анита развернулась и быстро сбежала по склону.

– Уроды, – пробормотала она – правда, уже без возмущения.

Когда вернулся Том, она уже сидела в грузовике.

– Нашел ее – Джохарину сестру?

– Конечно. Деревенька крохотная. Разумеется, все всех знают. Давай перекусим. Здесь или на берегу?

Сердце у нее по-прежнему учащенно и сильно билось. Она сказала:

– Давай спустимся к реке. Наверное, там ветерок.

Теперь она поразилась, что, увидев разбитый мотоцикл, почувствовала вначале бурную радость. Анита вспомнила, как в тот миг по телу пробежала приятная легкая дрожь. Пока они брели к берегу, она вновь подумала: хорошо, что не рассказала Тому о столкновении с двумя американцами.

XI

– Теперь тебе лучше спится? – спросил ее Том.

Она запнулась:

– Не совсем.

– Что значит – не совсем?

– У меня неприятность.

– Неприятность?

– Рассказать тебе?

– Ну разумеется.

– Том, по-моему, Секу заходит ко мне по ночам.

– *Что?* – вскрикнул он. – Ты с ума сошла. Что значит – заходит к тебе по ночам?

– То и значит.

– Что он делает? Говорит что-нибудь?

– Нет-нет, просто стоит у моей постели в темноте.

– Бред.

– Знаю.

– Ты его ни разу не видела?

– Как? Темно ведь, хоть глаз выколи.

– У тебя есть фонарик.

– Это и пугает меня больше всего. Включить свет и увидеть его наяву. Мало ли что он тогда сделает, зная, что я его видела.

– Он же не преступник. Господи, и почему ты такая чертовски нервная? В Нью-Йорке же гораздо опаснее, чем здесь.

– Я верю тебе, – сказала она, – но дело не в этом.

– Так в чем же? Тебе кажется, что он приходит и стоит у постели. Почему ты так думаешь?

– Это-то страшнее всего. Я не могу тебе объяснить. Это очень пугает.

– Но почему? Думаешь, он собирается тебя изнасиловать?

– Да нет же! Ничего подобного. Мне кажется, будто он хочет, чтобы мне приснился сон. Сон, которого я не в силах вынести.

– С его участием?
– Нет, его нет даже во сне.

Том вышел из себя:

– Да что же это такое! О чем мы, в конце концов, говорим? Ты сказала: Секу хочет, чтобы тебе приснился какой-то сон, и он тебе снится. Потом он приходит на следующую ночь, и ты боишься, что сон приснится вновь. Зачем, по-твоему, он это делает? Я имею в виду – какой ему в этом интерес?

– Понятия не имею, но от этого еще ужаснее. Знаю – ты считаешь, что это нелепо. Или думаешь, будто я все придумала.

– Нет, я этого не сказал. Но если ты никого не видела, как ты можешь быть уверена, что это Секу, а не кто-нибудь другой?

Позже он спросил ее:

– Анита, ты принимаешь витамины?

Она рассмеялась:

– Боже, ну конечно. Доктор Кёрк надавал мне целую кучу. Витамины и минералы. Он сказал, что здешняя почва бедна минеральными солями. Я уверена – ты считаешь, будто у меня какой-то биохимический дисбаланс, который и вызывает сны. Возможно. Но меня пугает даже не сам сон. Хотя, господь свидетель, о нем так противно говорить.

Том перебил ее:

– Что-то эротическое?

– Тогда было бы намного проще его описать, – сказал она. – Беда в том, что я не могу его описать… – Она поежилась. – Он слишком запутанный. И когда вспоминаю его, мне становится дурно.

– Можно, я стану твоим психоаналитиком? Что происходит в этом сне?

– Ничего. Я просто чувствую: грядет что-то ужасное. Но, как я уже сказала, меня волнует не сам сон, а сознание того, что он обязательно приснится, что чернокожий мужчина стоит, придумывает и внушает его мне. Это уже чересчур.

XII

Над деревянной дверью прибита деревянная вывеска, на которой краской написано: «Аптека Индэлла и Фамберса». Внутри – прилавок, и за ним стоит атлетический юноша. На первый взгляд он кажется голым, но на самом деле он в красно-синих шортах. Вместо: «Привет, я Бад», он говорит:

– Меня зовут мистер Индэлл. Что вам угодно? – Голос сухой и бесцветный.

– Мне нужна бутылочка этилнитрита и упаковка леденцов «Ржавый вяз».

– Сию минуту. – Но с лицом у него что-то не так. Он разворачивается и направляется в заднюю комнату, однако медлит. – Вы ведь не заходили к мистеру Индэллу?

– Но вы же сказали, что мистер Индэлл – это вы.

– Иногда он путается.

– Я не сказала, что хочу его увидеть.

– Но все же хотите. – Он протягивает руку над прилавком и хватает стальной хваткой. – Он ждет в подвале. Говорит Фамберс.

– Я не хочу встречаться с мистером Индэллом, спасибо.

– Слишком поздно.

Прилавок – откидной. Он поднимает его, чтобы освободить проход, по-прежнему сжимая стальной хваткой.

Возражения по пути в подвал. Хромированный трон у стены, сияющий в блеске наведенных на него софитов. Мускулистые бедра, вырастающие из мужских плеч; ноги, согнутые в коленях. Между бедер – толстая шея, голова отрублена. Руки, привязанные к бокам, свободно свисают, подергивая пальцами.

– Это мистер Фамберс. Он вас, конечно, не видит. Голову пришлось убрать. Мешала. Но шея наполнена высокочувствительной протоплазмой. Если укусите или хотя бы грызнете ее зубами, установится

мгновенный контакт. Просто наклонитесь и засуньте рот в шею.

Стальная рука ведет. Вещество внутри шеи напоминает размокший хлеб, слегка сернистый запах отдает репой.

– Засуньте язык. Только не подавитесь.

При первом же нажатии языком вещество внутри шеи начинает пульсировать, пузыриться и плескать вверх теплой жидкостью.

– Это всего-навсего кровь. Мне кажется, лучше вам здесь на время остаться.

– Нет, нет, нет, нет! – Она катается по полу в собственной рвоте.

– Нет, нет, нет! – Пытается вытереть с губ и лица кровь.

Вниз, вниз, вместе с кровью, рвотой и всем остальным, сквозь устеленный перьями пол. В душном кармане – лишь реповый смрад. Затем, задыхаясь, наполовину удавленная, она поднялась из-под низу и глубоко вдохнула свежий черный воздух, чувствуя дурноту после сна, не сомневаясь, что он повторится, и больше всего страшась мысли о том, что приказы, управляющие этим явлением, исходят извне – от другого разума. Это было невыносимо.

XIII

Том считал, что она рассуждает нелогично.

– Тебе приснился кошмар, и об этом, разумеется, нечего беспокоиться. Но навязчивая идея о том, что Секу или кто угодно управляет твоими снами, – чистая паранойя. Она совершенно ни на чем не основана. Неужели ты этого не понимаешь?

– Да, я понимаю, как это воспринимаешь ты.

– Я убежден, что теперь, когда ты все рассказала, это пройдет.

– А у меня такое чувство, что впредь я буду только об этом и думать.

Обратив внимание на керосиновую лампу, равномерно горевшую на полу между ними, Анита воскликнула:

– Она чересчур яркая, шумная и горячая.

– Не обращай внимания. Пустяки.

– Легко сказать.

– Ты же знаешь: если я убавлю свет, ничего не будет видно.

Через минуту она проговорила:

– Здешние овощи просто отвратительны. Не понимаю тебя. Ты рисуешь практически одну еду, но тебе все равно, что ты ешь.

– Что значит – все равно? Очень даже не все равно. Я не жалуюсь, если ты этого ожидаешь. Других овощей здесь нет – или тебе захотелось французских консервов? Зная тебя, сомневаюсь. Вообще удивительно, что им удается вырастить в песке хоть что-то.

Неожиданно в комнате появилась Джохара и объявила следующее блюдо.

– Я не слышал, как она поднялась, а ты?

Она фыркнула:

– Когда работает эта лампа, ты и слона бы не услышал.

– Да, но ты замечала, что даже без лампы в доме никогда не слышно шагов?

Она усмехнулась:

– Замечала – мягко сказано. И это меня тоже тревожит по ночам. Ночью я не слышу никаких звуков у себя в комнате. Там могла бы находиться куча народу, а я даже не знала бы.

Том промолчал, явно сосредоточившись на чем-то другом. Пару минут они посидели в тишине. Анита заговорила вновь задумчивым голосом:

– Том, ты когда-нибудь слышал о ржавом вязе?

Он выпрямился на стуле:

– Разумеется. Бабушка свято верила, что он помогает от горла. Его продавали в таблетках, вроде капель

от кашля. Помню, как она расстроилась, когда их перестали выпускать. Сомневаюсь, что «Ржавый вяз» можно сегодня найти хоть в каком-нибудь виде.

Том украдкой взглянул на нее, заподозрив, что таким окольным путем она обдумывает содержание сна. Он помолчал.

Следующий ее вопрос показался ему комичным:

– Ведь заключенным добавляют в еду селитру?

– Раньше добавляли, но как сейчас – не знаю. Чем ты занимаешься – составляешь компендиум бесполезных знаний?

– Нет, просто интересуюсь.

Он разложил за спиной подушки и растянулся на них.

– Хочешь знать, кто, по моему мнению, Секу? – спросил он.

– Что значит – кто?

– Я имею в виду, кто он для тебя. Мне кажется, он – мама.

– Что?! – очень громко воскликнула она.

– Я серьезно. Я помню, как мама приходила и становилась в темноте у моей кровати – стояла, и все. А я всегда боялся, как бы она не догадалась, что я не сплю. Поэтому дышал ровно и лежал не шевелясь. Точно так же она стояла и у твоей кровати. Я слышал, как она заходит к тебе в комнату. Разве ты никогда не видела, что она неподвижно стоит у самой кровати?

– Не помню. Как такое вообще может прийти в голову – африканский негр в роли матери!

– Ты просто смотришь на это со стороны. Но я готов поспорить, что это сон о какой-то вине, а кто внушает нам чувство вины? Всегда и везде – мать.

– Я не фрейдистка,– сказала она. – Но если даже признать – хоть я не признаю этого ни на минуту,– что сон проистекает из чувства вины и что я помню маму с раннего детства, это абсолютно не объясняет, почему я так глубоко уверена, будто маму играет Секу. На этот счет у тебя нет теории?

– Есть, и весьма недурная. Просто между тем, что происходит во сне, и тем, что ты считаешь причиной этого сна, нет никакой связи. Когда будешь прокручивать сон в голове, попробуй вставить в него Секу, и посмотри на его реакцию.

– Я никогда не прокручиваю сон в голове. Мне и так тошно оттого, что он снится: не хватало еще анализировать его наяву.

– Что ж, я могу лишь сказать тебе, Нита, что он будет беспокоить тебя, пока ты не разберешь его по полочкам и внимательно не изучишь.

– Я извещу тебя, как только выясню, в чем виновата.

XIV

Все в городе знали мадам Массо. Они с мужем жили здесь еще при французах. Затем, после обретения независимости, когда мадам Массо не было и двадцати, ее муж умер, оставив ей фотостудию и практически больше ничего. В своей лаборатории она научилась проявлять и печатать фотографии. Монополия на подобные услуги оказалась не таким доходным делом, каким могла бы стать где-нибудь в другом месте, поскольку спрос был весьма невелик. Молодых людей с камерами в последнее время стало больше, и она не только проявляла и печатала, но и продавала пленку. Несколько молодых туземцев, живших в Европе, не раз пытались убедить ее торговать видеокассетами, но она объясняла, что у нее нет стартового капитала.

После смерти мсье Массо она недолго лелеяла мысль вернуться во Францию, но решила вскоре, что на самом деле этого не хочет. Жизнь в Монпелье была бы значительно дороже, да и нельзя поручиться,

что она отыщет подходящее жилье с лишней комнатой, где можно устроить лабораторию.

Лишь горстка белых находила странным, что она решила остаться одна в городе чернокожих. Лично же ей, с первого дня прибытия сразу после свадьбы, негры показались симпатичными, любезными, великодушными и доброжелательными. Она не замечала в них никаких изъянов, если не считать небрежного отношения ко времени. Часто казалось, будто они не ведают, какой сейчас день и час. Молодежь знала, что европейцы считают это недостатком их земляков, и в общении с иностранцами изо всех сил старалась быть пунктуальной. Хотя мадам Массо поддерживала теплые отношения с другими французскими жителями, она завязала дружбу и с семьями туземной буржуазии. Она так и не выучила ни одного местного наречия, но эти люди сносно говорили по-французски, а их сыновья, как ни удивительно, владели ее родным языком в совершенстве. Желание побывать во Франции посещало ее редко и тут же исчезало. Здешний климат был приятен, если не обращать внимания на жару (а она не обращала), и просто идеален для ее астмы. Европейцы непрестанно поражали ее предположениями о том, что города здесь грязные и антисанитарные, и, скорее всего, она сама изумляла их, утверждая, что улицы тут чище, а неприятных запахов меньше, чем в любом европейском городе. Она умела жить в пустыне и ухитрялась сохранять весь год превосходное здоровье. Трудными месяцами были май и июнь, когда жара становилась невыносимой, и, стоило выйти из дома, как тебя засыпало песком; да еще – июль и август, когда лил дождь, воздух был влажным и она вспоминала, что в детстве страдала астмой.

Еще до приезда Аниты Том успел подружиться с мадам Массо: она проработала год в небольшой художественной галерее на рю де Виньон и, благодаря своей необычайной любознательности, приобрела за это время множество знаний о живописи, которые с тех пор не растеряла. С ней по-прежнему можно было поговорить о личной жизни нескольких художников, а также суммах, вырученных за их полотна, и Тома это умиляло. Мадам Массо провела год в Париже, и им хватало общих тем. Теперь он подумывал, не пригласить ли ее вновь на обед. Это всегда было рискованно, ведь она прекрасно готовила, особенно – местные блюда из здешних продуктов. В отличие от многих самоучек, она с радостью делилась своими открытиями с теми, кто питал такой же интерес к кулинарии. С ее помощью Том успешно научился готовить пару блюд.

– Я позову ее в понедельник на обед, – сказал он Аните. – И ты сделаешь мне еще одно огромное одолжение, если сходишь в магазин и пригласишь ее. Заодно купишь пленку. Дорогу ты теперь знаешь, так что обойдешься без провожатых. Ты не против? Если пойду я, то все утро насмарку.

– Я-то не против, но, по-моему, небольшой моцион тебе не повредил бы.

– Моцион я уже совершил: пробежал по берегу перед завтраком. Ты же знаешь. Большего мне и не надо. Так скажешь мадам Массо, что мы ждем ее в понедельник на обед? Она говорит по-английски.

– Ты забываешь, что моим первым иностранным был французский.

Ей вовсе не хотелось бродить по городу, но она встала и сказала:

– Ладно, схожу, пока воздух еще не стал горячее тела.

Подойдя к киоску, у которого они с Секу пили холодную «пепси-колу», Анита обнаружила, что тот заперт. Она не горела желанием выполнять поручение Тома из-за суеверного предчувствия, что может снова столкнуться с двумя американскими дикарями. Она даже невольно прислушалась: не доносится

ли издалека отвратительный грохот их мотоцикла. Еще не добравшись до рынка, Анита решила, что эти двое покинули город и переехали куда-нибудь еще, где могли запугивать новую партию туземцев, поскольку здешние жители наверняка уже к ним привыкли.

Мадам Массо, похоже, обрадовалась приглашению.

– Как Том? – спросила она. – Вы недавно заходили в магазин, а Тома я не видела очень давно.

Вернувшись домой, Анита поднялась на крышу, где работал брат, и сказала ему:

– Она придет в понедельник. Она лесбиянка, тебе не кажется?

Том воскликнул:

– Боже правый! Откуда я знаю? Никогда не спрашивал у нее. С чего тебе это взбрело в голову?

– Не знаю. Просто подумалось, пока мы разговаривали. Она такая серьезная.

– Я бы сильно удивился.

В последнее время в воздухе появилась пыль, и с каждым днем ее становилось все больше. Очевидно, вернее было бы называть ее песком, как говорил Том. Впрочем, он соглашался, что если это песок, то все же измельченный – фактически та же пыль. От нее нельзя было спрятаться. Некоторые комнаты внизу пропускали меньше пыли, но двери по-настоящему не запирались, и непрерывный ветер гнал порошок, задувая его в самые узкие щели.

XV

В понедельник воздух стал таким непрозрачным от пыли, что с крыши нельзя было различить фигуры на улице. Том решил пообедать в одной из нижних комнат при запертых дверях.

– Может развиться клаустрофобия, – сказал он, – но что остается делать?

– Я знаю, что можно сделать, – ответила Анита. – Не сегодня, но скоро, если пыли не станет меньше. Нужно уехать из этого города. Подумай о наших легких. Мы как будто живем в угольном руднике. А скоро польет дождь. Что делать тогда? Все превратится в какой-то Грязьвилль. Ты всегда говорил, что полгода здесь жить невозможно.

Мадам Массо провела наверх служанка, освещая дорогу в темноте оплывающей свечой. Гостья держала перед собой что-то похожее на коробку для обуви и тотчас вручила ее Тому.

– Тра́вы, как обещала, – сказала она. – Правда, уже поздновато их дарить.

Он раскрыл коробку. Внутри та была разделена на три небольших отделения, заполненных черноземом – в нем росли маленькие зеленые бахромки и перышки.

– Орегано, майоран и эстрагон, – сказала мадам Массо, показывая пальцем. – Только придется пока держать коробку закрытой, а не то песок задушит растения.

– Какая прелесть, – заметила Анита, рассматривая коробку. – Похоже на переносной огородик.

– Все свои травы я храню в доме закрытыми.

– Нам бы встретиться на две недели раньше, – сказал Том. – Как представлю, что вы шли к нам в эту ужасную погоду. Вся такая стройная, элегантная и даже не растрепанная – как вам это удалось?

Анита тоже об этом подумала. Мадам Массо была в безукоризненном костюме цвета хаки, который, несомненно, предназначался для пустыни, но столь же элегантно смотрелся бы и на рю де Фобур Сент-Оноре.

– Ах, – она размотала на голове тюрбан и стряхнула его. – Секрет в том, что мсье Бесье подобрал меня на рынке и довез на своем грузовике прямо сюда. Поэтому дорога заняла не сорок, а всего две минуты.

– Фантастический наряд! – восторженно воскликнула Анита и вытянула руку, чтобы потрогать нижнюю часть. – Не возражаете?

Мадам Массо заложила руки за голову, дабы облегчить осмотр.

– В действительности, это переделанный сахарский *серруэль* в сочетании с местным *бубу,* – пояснила она. – Мое собственное изобретение.

– Просто изумительно, – сказала Анита. – Но материал-то вы не здесь брали.

– Нет-нет, купила в Париже, там же и фасон подобрали. Я не очень хорошо умею обращаться с иглой и нитками. Но покрой так прост, что я убеждена: его мог бы скопировать даже местный портной. Вся хитрость в кройке по косой – чтобы верх казался продолжением брюк и все вместе составляло единую линию от плеч до лодыжек, без единого шва.

– Цвет, безусловно, самый подходящий на сегодня, – сказал Том.

– Погода меня не волнует, – возразила она. – Это цена, которую приходится платить за остальную часть года. Досадно, конечно, но для меня это проверка на прочность. Я вовсе не хочу сказать, что не сбега́ю в это время года во Францию, поскольку все-таки сбега́ю. У моего брата ферма под Нарбонной. Лето в Провансе восхитительно. Но вы же знаете, сегодня я пришла сюда, в первую очередь, посмотреть ваши картины.

– Да. – Том погрустнел. – Очень жаль, что вы не сможете увидеть их при дневном свете, ведь нам придется сидеть внизу, да еще и при керосиновой лампе. Я не смогу распаковать их наверху из-за этой пыли и песка.

Джохара объявила, что кушать подано, и та же судомойка провела их вниз по темной лестнице, высоко держа свечу.

– Как же все-таки обидно, – заметила Анита, – что приходится обедать внизу. На террасе под карнизом – куда приятнее. Но ничего не попишешь.

За едой мадам Массо неожиданно спросила:

– Кто приготовил сей отменный обед, мсье? Вы?

– К сожалению, нет. Джохара.

– Вам очень повезло с этой женщиной. Как только вы уедете, я постараюсь заполучить ее.

– Зачем она вам? Вы ведь и сами можете приготовить любое блюдо.

– Да, если захочу провести целый день на кухне. К тому же есть пищу, которую состряпала сама, не столь приятно.

– Полагаю, она с радостью перейдет с одного места сразу на другое, – сказал Том.

– С этими людьми ни в чем нельзя быть уверенным. Они не жадные и не тщеславные. Похоже, самое главное для них – отношения с хозяином. Он может быть немыслимо строгим или совершенно безразличным. Если уж они любят его, то любят по-настоящему. Это блюдо великолепно, – продолжала она. – Я знаю, как его готовят, но оно пока не особенно мне удавалось.

– И как же его готовят? – спросил Том.

– Основа – крошечные просяные лепешки. Карамельный соус – несложный, но вот крем сверху – потруднее. Нужно вымочить белую мякоть кокосового ореха в чуточке кокосового молока. Добиться правильной консистенции непросто. Но ваша кухарка приготовила все идеально.

Том как раз вынимал картины из металлической коробки, где хранил их.

– Я достану самые последние. Во всяком случае, я считаю их лучшими.

– Нет-нет! – возразила мадам Массо. – Я хочу посмотреть все. По крайней мере, те, что вы написали здесь.

– Это заняло бы всю ночь. Вы не представляете, насколько я плодовит.

– Тогда просто покажите мне то, что хотите показать, и я буду счастлива.

Он передал ей стопку гуашей, сделанных на бумаге.

Она долго и пристально рассматривала каждую работу и вдруг в восторге воскликнула:

– Эти рисунки феноменальны! Какая утонченность и красота! Покажите еще! Никогда не видела ничего подобного, уверяю вас.

Продолжая рассматривать, она время от времени бормотала:

– *Invraisemblable.*[*]

Анита, которая до сих пор была лишь зрительницей, тоже вдруг заговорила.

– Покажи ей «*La Boucle de Niger*»[**], – настойчиво попросила она Тома. – Сможешь до нее добраться? Я считаю ее одной из самых удачных.

Это заявление, похоже, раздосадовало его:

– В каком смысле – удачных?

– Мне очень нравится пейзаж на той стороне реки, – пояснила она.

– Я еще дойду до нее, – грубо ответил он. – Они сложены у меня в том порядке, в каком нужно.

Мадам Массо продолжала рассматривать картины.

– Я начинаю понимать ваш метод, – пробормотала она. – Он весьма изощрен. Вы часто полагаетесь на чистую случайность в одной детали, и это определяет манеру всей работы. Вы сохраняете гибкость до самой последней минуты. Разве не так?

– Иногда, – уклончиво ответил он, а минуту спустя добавил: – По-моему, вы получили достаточное представление о том, чем я здесь занимаюсь.

* Невероятно (*фр.*).

** Излучина Нигера (*фр.*).

Глаза мадам Массо заблестели:

– Вы – гений! Вы наверняка добьетесь огромного успеха. Они неотразимы.

Когда Джохара убрала кофейные чашки, мадам Массо встала:

– Я все же попытаюсь заполучить эту женщину, когда вы уедете, – сказала она. – Вы уезжаете на этой неделе?

– Как только сможем выбраться, – ответила Анита.

– Давайте поднимемся и глянем, как ведет себя погода, – предложил Том. – Ведь сейчас нет мсье Бесье, который отвез бы вас домой.

Вместе с мадам Массо он прошагал к дверям.

– Ты идешь? – спросил он Аниту. Та покачала головой, и он закрыл за собой дверь.

Их не было дольше, чем необходимо, чтобы выяснить, улегся ли ветер. Она сидела в запертой комнате, чувствуя, что обед был пустой тратой времени. Когда они спустились, мадам Массо начала настаивать на том, что Тому вовсе не нужно провожать ее домой. Однако Анита видела, что он твердо решил пойти с ней.

– Но меня же здесь все знают, – возражала она, – и еще не стемнело. Никому и в голову не придет ко мне приставать. В любом случае, ветер стих, и в воздухе почти нет пыли. Останьтесь.

– И не подумаю.

XVI

Когда мадам Массо несколько церемонно попрощалась с Анитой, они вышли, и Анита поспешила на крышу, чтобы немного подышать свежим воздухом. Ветер утих, и вновь стал виден спокойный и грязный городской пейзаж. Было очень тихо: лишь изредка безмолвие пронзал собачий лай. От сознания скорого отъезда у Аниты поднялось настроение, и она

даже почувствовала некоторую ответственность перед этим домом. Ей пришло в голову, что хорошо бы спуститься и поблагодарить Джохару за то, что она с таким старанием приготовила отменный обед для гостьи. Стоя в кухне, освещенной двумя свечами, Джохара выслушала похвалу со своим привычным невозмутимым достоинством. Общаться с ней было трудно, поэтому Анита улыбнулась, вышла во двор и посветила фонариком во все стороны. Затем вернулась в комнату, где они обедали, – там гудела керосиновая лампа. Перед тем как подняться на крышу, она оставила дверь открытой, и комната теперь проветрилась. Анита села на подушки и начала читать.

Том вернулся быстрее, чем она ожидала: футболка была насквозь мокрая.

– Что ты так вспотел? – спросила Анита. – Уже ведь не жарко.

– Я почти бежал на обратном пути.

– Зачем? Никакой спешки нет.

Она прочитала еще пару строк и положила книгу на кушетку рядом с собой.

– По крайней мере, теперь мы знаем, что она не лесби, – сказала Анита.

– Ты в своем уме? – закричал он. – До сих пор об этом думаешь? И почему это мы знаем теперь, но не знали раньше? Потому что она не клеилась к тебе?

Она быстро зыркнула на него:

– Заткни клюв! Мне стало предельно ясно, что она интересуется тобой.

– И откуда же такая ясность?

– Ну, во-первых, она ворковала над твоими картинами.

– Просто французские манеры.

– Да, знаю, но никакой этикет не требует тех притворных похвал, какие она расточала.

– Притворных? Они были совершенны искренни. На самом деле, она очень многое говорила по существу.

– Я вижу, ты падок на лесть.

– Знаю – ты просто не в силах поверить, что кого-то могут взволновать мои картины.

– Ах, Том, ты несносен. Я этого не говорила, но, по моему личному мнению, сегодня ее взволновали отнюдь не твои работы.

– Ты хочешь сказать, что интерес у нее сексуальный?

– А что, по-твоему, я еще хочу сказать?

– Ладно, допустим, и допустим, что я ответил ей взаимностью, – неужели это так важно?

– Конечно, нет. Но мне это кажется занятным.

– Ты просто хотела, чтобы я судил о своих работах объективно. Ты, разумеется, права, и я должен это ценить. Но не могу. Так приятно, когда тебе говорят, как ты хорош. Потом хочется немного посидеть и посмаковать комплименты, которые только что услышал.

– Извини, – сказала она. – Я вовсе не собиралась принижать значение твоих работ или портить тебе настроение.

– Возможно, но разговоры об этом сейчас все же его портят.

– Прости, – сказала она, но тон не был извиняющимся. – По пути домой мадам Массо еще говорила о твоей живописи?

Он рассердился:

– Нет, – и минуту спустя продолжил: – Она рассказала длинную запутанную историю о двух студентах из Йеля, которых на прошлой неделе нашли мертвыми под Гаргуной. Мы здесь ни о чем никогда не слышим. Вызвали старого мсье Бесье. Полиция узнала, что его грузовик видели там за пару дней до того, как их обнаружили. Ну разумеется – ведь в нем были мы. Ребята катались на мотоцикле и попытались проехать по песку.

– Произошла авария? – Ей удалось сохранить ровный тон. «Нет нужды, – подумала она. – Никто ничего не знает».

– Они врезались в какие-то большие валуны и разбились всмятку. Но умерли, очевидно, не от ран.

– От чего же? – Голос у нее был слишком слаб, но он не заметил. «Нужно продолжать этот диалог так, словно он не имеет абсолютно никакого значения», – сказала она себе.

– От солнечного удара. На дурачках не было одежды. Только шорты. Никто не знает точно, когда произошла авария, но, наверное, они пролежали там голые два или три дня, с каждым часом все больше обгорая. Непонятно, почему никто из деревни не увидел их до этого. Но люди, конечно, редко блуждают в дюнах. И к тому времени, когда кто-то увидел, солнце уже доконало их.

– Какая досада, – она снова увидела перед собой яркие красно-синие шорты, кровь на загорелых телах и погнутую хромированную клетку над ними. – Бедняги. Ужасно.

Том продолжал говорить, но она не слышала его, а немного спустя пробормотала:

– Жуть.

XVII

Теперь, когда до отъезда в Париж осталось несколько дней, Аните остро захотелось освободиться от тумана сомнений и страхов, которые изводили ее с того дня в Гаргуне. В основе, конечно, лежал сон: она не видела его уже несколько ночей. Еще оставался Секу. Если бы она уехала, до конца не выяснив, как он связан со сном, то считала бы это главной неудачей своей жизни. Уроды мертвы, но Секу жив – возможно, он окажется полезен.

– Секу здесь? – спросила она Тома. Тот удивился:

– Вот те на! Хочешь повидать его?

– Мне захотелось прогуляться вдоль реки, и я подумала: может, он пойдет со мной.

Том помедлил:

– Не знаю, как он. У него беда – в ноге началось заражение. Я посмотрю, в доме ли он, и скажу тебе.

Секу сидел в комнате рядом с кухней, и Том предложил еще раз продезинфицировать рану. Заметив Аниту, стоявшую за дверью, Секу засмущался.

– Если хочешь, можешь войти и посмотреть, – сказал Том: он терпеть не мог чрезмерную стыдливость местных мужчин. – Глубокая, от лодыжки до самого колена. Не мудрено, что попала инфекция. Но уже гораздо лучше. – Он сорвал пластырь, придерживавший повязку. – Все сухо, – возвестил он. – Бесполезно спрашивать его, больно ли, ведь он скажет, что нет, даже если боль убийственная. *Tout va bien maintenant?*[*]

Секу улыбнулся и ответил:

– *Merci beaucoup. La plaie est fermée.*[**]

– Он сможет пойти с тобой, – сказал Том.

Когда Том опустил полу *гандуры* и прикрыл его ногу, Секу, похоже, успокоился.

Пока они шли вдоль реки, Анита спросила, откуда взялась такая глубокая рана.

– Вы же видели, – ответил он, удивившись вопросу. – Вы ведь там были и видели, как туристы врезались в меня на своей машине.

– Я так и думала, – сказала она. – Вот уроды.

Так легче было говорить о них, хоть она и знала, что отчасти виновата в их гибели.

Снова подул ветер, и в воздух поднялась пыль. На реке в тот день было мало рыбаков. Посреди утра наступили сумерки.

– Вы называете их демонами, – продолжал Секу, – но они не демоны. Они – невежественные молодые люди. Я знаю, что вы рассердились на них и наложили на них проклятие.

* Теперь все хорошо? (*фр.*)

** Большое спасибо. Рана затянулась (*фр.*).

Анита изумилась.

– *Что?* – воскликнула она.

– Вы сказали, что они попадут в беду и были бы рады увидеть их страдания. Думаю, они уехали.

У нее возникло желание сказать ему: «Они погибли», но она сдержалась, подумав, как странно, что он не слышал этой новости.

– Я-то уже простил их, но знаю, что вы – не простили. Когда у меня очень сильно болела нога, мсье Том сделал мне укол. Я сказал себе: возможно, боль утихла бы, если бы вы тоже простили их. Однажды ночью мне приснилось, будто я пришел и разговаривал с вами. Мне захотелось услышать, как вы это скажете. Но вы сказали: «Нет, они демоны. Они чуть не убили меня. Почему я должна их прощать?» Тогда я понял, что вы никогда не простите их.

– Не демоны, а уроды, – пробормотала Анита.

Похоже, он не расслышал.

– Потом, слава Богу, мсье Том вылечил мою ногу.

– Давайте вернемся – в воздухе полно пыли.

Они развернулись и пошли в другую сторону. Несколько минут помолчали. Наконец, Анита сказала:

– В вашем сне вы хотели, чтобы я пришла, увидела их и сказала, что простила?

– Да, это бы меня очень обрадовало. Но я не посмел просить вас об этом. Я подумал, что достаточно услышать, как вы говорите: «Я прощаю их».

– Теперь мне уже бесполезно говорить: «Я прощаю их», да? Но я прощаю. – Она говорила, чуть не плача. Он заметил это и остановился.

– Нет, разумеется, это полезно для вас. Если вы носите в себе гнев, он вас отравляет. Все должны всегда всех прощать.

Остаток прогулки она молчала и думала о собственном сне, в котором прощение не играло никакой роли. Ведь она выяснила, что Индэлл и Фамберс могли быть лишь теми, кем были прежде, – *уродами,*

и поэтому ее бессознательное отвело для них мир, в котором уродливым было все.

Она задумалась над тем, как Секу истолковал ее яростные слова, обращенные к мотоциклистам. В некотором смысле он рассудил совершенно правильно. Ее поведение точь-в-точь соответствовало наложению проклятия, хотя ей и не хотелось воспринимать это так. Не понимая слов, Секу уловил их смысл. Основные эмоции обладают собственным языком.

Она оказалась права. Сильное желание помогло Секу соприкоснуться во сне с темной стороной ее сознания и заставило ее искать Индэлла и Фамберса. (Она не знала, как их еще назвать.)

XVIII

На следующее утро Том, который вышел рано не на пробежку вдоль реки, а на прогулку к рынку, вернулся в возбуждении.

– Нам крупно повезло! – воскликнул он. – Я случайно встретил Бесье. Его племянник здесь, но завтра уезжает, и он говорит, что в его «лендровере» найдутся для нас места. Значит, мы обязательно доберемся до Мопти, пока не начался дождь.

Обрадовавшись предстоящему отъезду, Анита все же спросила:

– А почему нужно добраться до Мопти перед дождем?

– Потому что иначе дорога станет непроходимой. После Мопти плавание относительно спокойное. Так мы избежим кучи хлопот. И мне не придется платить целое состояние, чтобы взять напрокат машину. Когда ты сможешь упаковаться?

Она рассмеялась:

– Ты же знаешь, у меня почти ничего с собой нет. Я могу уложить все за полчаса.

Мысль об отъезде, о возможности увидеть пейзаж, не похожий на эту бескрайнюю, залитую светом пустыню, ободрила ее. Однако она чувствовала некоторую раздвоенность. Она уже успела полюбить этот плоский городок песочного цвета, и знала, что больше никогда не увидит ничего подобного. Ей пришло в голову, что она никогда не встретит и человека такой кристальной чистоты, как Секу. (Анита знала, что впредь будет всегда о нем вспоминать.)

Утром перед отъездом Том раздал деньги всем, кто оказывал им услуги по хозяйству. Анита пошла с ним в кухню и пожала руку Джохаре. Она надеялась увидеть Секу и попрощаться с ним, но так рано он не вставал.

– Я прямо расстроилась, – сказала она, пока они стояли у дома и ждали племянника Бесье.

– Наконец-то ты полюбила Секу, – заметил Том. – Вот видишь, он вовсе не хотел тебя изнасиловать.

Она не удержалась и сказала:

– Но я снилась ему.

– Вот как? – Том обрадовался. – Откуда ты об этом узнала?

– Сам сказал. Ему снилось, будто он подходит и стоит у моей постели. – Она решила остановиться на этом и больше ничего не говорить. Том впал в отчаяние и покачал головой:

– Ну, для меня это чересчур.

Она обрадовалась, увидев приближающийся «ленд-ровер».

Уже отъехав далеко в пустыню, она по-прежнему размышляла над этой уже не мучительной историей. Секу знал о ней многое, но Анита знала все и поклялась себе, что никто больше никогда об этом не услышит.

1993

Издательства
“Kolonna Publications” и «Митин Журнал»
представляют книги Пола Боулза:

НЕЖНАЯ ДОБЫЧА, рассказы 1946–1950

ЗАМЕРЗШИЕ ПОЛЯ, рассказы 1950–1960

ПОЛНОЧНАЯ МЕССА, рассказы 1961–1976

ПУСТОЙ АМУЛЕТ, рассказы 1976–1993

ДОМ ПАУКА, роман

ВВЕРХУ НАД МИРОМ, роман

Как все великие путешественники, Пол Боулз создал собственную страну. Хотя в его книгах она находится в Северной Африке или Латинской Америке, подлинное ее место – Тропик Магии. Для Боулза магия – это тайная связь между миром природы и сознанием человека. Отыскать ее можно только интуитивно, поэтому Боулз и провел почти всю свою жизнь, мечтая о ней, в страхе и удивлении, в надежде разгадать шифр, который подарит ему «мудрость и экстаз – а быть может, и саму смерть».

Издательства
“Kolonna Publications” и «Митин Журнал»
представляют:

Райнхард Йиргль
СОБАЧЬИ НОЧИ

Репортаж, местами эпатирующе-откровенный, о жизни в Восточной и Западной Германии до и после падения Берлинской стены. Роман, написанный в 1997 году, но продолжающий экспериментальную линию немецкого экспрессионизма. Зеркальная притча, персонажи которой оказываются гранями одной личности. Книга-лабиринт с алхимическим символизмом и множеством скрытых смыслов.

Жорж Батай
ПРОЦЕСС ЖИЛЯ ДЕ РЭ

Одна из последних работ выдающегося философа: биография маршала Франции, соратника Жанны д’Арк и знаменитого серийного убийцы. Жорж Батай восстановил жизненный путь Жиля де Рэ (1404–1440), проанализировал исторические хроники и впервые опубликовал протоколы двух судебных процессов – светского и церковного – по обвинению Жиля де Рэ в убийствах сотен детей и поклонению дьяволу.

Эркюлин Барбен
ВОСПОМИНАНИЯ ГЕРМАФРОДИТА

Судьба Эркюлин Барбен (1838–1868), мужчины, которого двадцать лет считали женщиной, – загадочна и драматична. Автобиографические заметки Барбен являются не только уникальным историческим свидетельством, но и в высшей степени захватывающим чтением. Во Франции они были подготовлены к печати знаменитым философом Мишелем Фуко для первой части задуманной им серии «Параллельные жизни».

Антонен Арто
ГЕЛИОГАБАЛ

Антонен Арто более всего известен как легендарный основатель Театра Жестокости, выдающегося проекта, полностью изменившего природу театра и перформанса, а также как поэт-сюрреалист и кинорежиссер. В 1933-м году издатель Робер Деноэль предложил Арто написать биографию Гелиогабала. Книга Арто отражает его собственные интересы наравне с теми, которые были свойственны Гелиогабалу. «Я написал эту „Жизнь Гелиогабала“ так, как я проговорил бы ее, словно пересказывая. Я также написал ее, чтобы помочь читателям слегка разучиться истории, но в то же время уловить ее нить».

Издательства
“Kolonna Publications” и «Митин Журнал»
представляют:

Альфред Честер
КОЛЕСНИЦА ПЛОТИ

Баронесса Карла Арвон, прекрасная парижанка с ледяными волосами, покидает своего возлюбленного и исчезает на много лет. Ее труп находят в номере дешевой гостиницы. Как баронесса провела последние годы своей жизни? Кого она навещала каждую ночь? Отчего она умерла? Ответы на эти вопросы предстоит узнать ее другу Говарду Каннингему и читателю этой книги, который заодно получит рецепт, как заниматься любовью стоя на голове.

Ладислав Клима
СТРАДАНИЯ КНЯЗЯ ШТЕРНЕНГОХА

В 1928 году, когда «Страдания князя Штерненгоха» впервые увидели свет, члены профсоюза чешских учительниц отказались от подписки на книжную серию «Плеяда», в которой была опубликована эта книга, поскольку «не покупают порнографию ради красивой обложки». Сам Ладислав Клима говорил, что его роман «в 10 раз реалистичнее и отвратительнее, чем Золя, в 10 раз фантастичнее, чем Гофман, в 10 раз непристойнее, чем Казанова, в 10 раз извращеннее, чем Бодлер, короче говоря – аморальность, хулиганство и безумие».

Габриэль Витткоп
КАЖДЫЙ ДЕНЬ – ПАДАЮЩЕЕ ДЕРЕВО

Габриэль Витткоп говорила то, что думала, жила, как хотела, и умерла, как сочла нужным: приняв цианистый калий за два дня до Рождества – праздника, который она презирала. Холодные, мизантропические и блистательные книги Витткоп ее биограф сравнил с чудесным ядовитым цветком. Опубликованный посмертно роман «Каждый день – падающее дерево» – это портрет двойника автора, надменной и безжалостной Ипполиты, вспоминающей свою жизнь, озаренную гордым пламенем презрения к человечеству.

Алехандро Ходоровский
ПОПУГАЙ С СЕМЬЮ ЯЗЫКАМИ

Члены «Общества цветущего клубня» – поэты, паяцы и блудницы, затерявшиеся в психоделических ландшафтах параллельного Чили, переходят из одного трипа в другой. Они умирают и воскресают по воле Алехандро Ходоровского, легендарного кинорежиссера, мима, психошамана, исследователя языка Таро и создателя эзотерических комиксов. «Попугай с семью языками» – книга, получившая во Франции Премию черного юмора, – впервые публикуется в России.

Издательства
“Kolonna Publications” и «Митин Журнал»
представляют:

Джеймс Парди
Я – ИЛАЙДЖА ТРАШ

Юная столетняя наследница нефтяного состояния нанимает истекающего кровью двадцатидевятилетнего стареющего негра, чтобы тот следил за ее возлюбленным – девяностолетним актером Илайджей Трашем. Однако объект ее страсти любит только одно существо: своего немого правнука. Впервые на русском языке сюрреалистический роман крупнейшего американского прозаика.

Альфред Дёблин
ПОДРУГИ-ОТРАВИТЕЛЬНИЦЫ

В марте 1923 года в Берлинском областном суде слушалось сенсационное дело об убийстве молодого столяра Линка. Виновными были признаны жена убитого Элли Линк и ее любовница Грета Бенде. Присяжные выслушали 600 любовных писем, написанных подругами-отравительницами. Процесс Линк и Бенде породил дискуссию в печати о порочности однополой любви и вызвал интерес психоаналитиков. Заинтересовал он и крупнейшего немецкого писателя Альфреда Дёблина, который восстановил в своей документальной книге драматическую историю Элли Линк, ее мужа и ее любовницы.

Издательства
“Kolonna Publications” и «Митин Журнал»
представляют:

Герард Реве
МАТЬ И СЫН

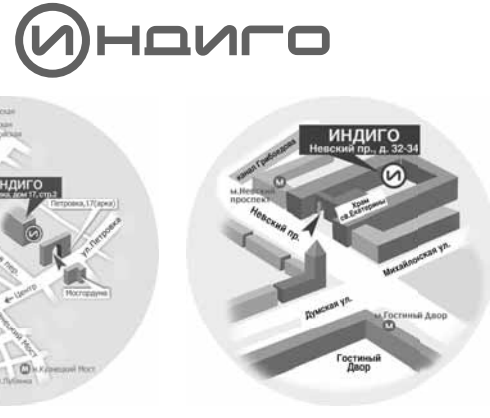
«Мать и сын» – исповедальный и парадоксальный роман знаменитого голландского писателя Герарда Реве (1923–2006). Мать – это Святая Дева Мария, а сын – сам Реве. Писатель рассказывает о своем зародившемся в юности интересе к Католической Церкви и, в конечном итоге, о принятии крещения. По словам Реве, такой исход был неизбежен, хотя и шел вразрез с коммунистическим воспитанием и его открытой гомосексуальностью. Единственным препятствием, которое Реве пришлось преодолеть для того, чтобы быть принятым в лоно Церкви, являлось его отвращение к католикам. На страницах книги Реве ищет не только духовного единения с Девой Марией, но и плотского союза с идеальным партнером – юным вокзальным носильщиком, которого он окрестил Матросом.

Уильям Берроуз
БЛЭЙДРАННЕР

Предсмертный бред знаменитого гангстера… Исчезновение тайной библиотеки предводителя секты ассасинов… оргии в гигантском лепрозории… опустошенный Нью-Йорк 2014 года… Это фильмы Уильяма Берроуза, которые вы никогда не увидите на экране.

Место встречи – магазин «ИНДИГО»!

«Тематические» литература и кино
Все книги издательства «Колонна»
Полная подшивка журнала «Квир»
Эротические фотоальбомы и календари
Мужское нижнее белье и плавки известных марок
Джинсы, рубашки, ремни, сумки



Москва, ул. Петровка, д. 17, стр. 2
(495) 783-0055, 507-4623
Время работы: с 10 до 22, без выходных
Проезд: М. Чеховская, Охотный ряд, Кузнецкий мост
Вход в арку напротив Мосгордумы

Санкт-Петербург, Невский пр., д. 32-34
(812) 448-5533, 570-4107
Время работы: с 11 до 23, без выходных
Проезд: М. Невский пр., Гостиный двор
Вход в арку во двор слева от храма

Книги издательств «Митин Журнал» и "Kolonna Publications" можно приобрести *в Москве:*

«Проект ОГИ» Потаповский пер., д. 8/12, стр. 2
«Ад Маргинем» 1-й Новокузнецкий пер., д. 5/7
«Фаланстер» Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27
«Гилея» Нахимовский пр-т , д. 51/21,
«Дом Книги на Ладожской» ул. Ладожская, д. 8
«Молодая гвардия» ул. Б. Полянка, д. 28
«Московский Дом Книги» ул. Новый Арбат, д. 8
«Букбери» сеть книжных супермаркетов
«Республика» 1-я Тверская-Ямская, д. 10
«Библиоглобус» Мясницкая ул., д. 6/3, стр. 5
«Москва» ул. Тверская, д. 8
«Индиго» ул. Петровка, д. 17, стр. 2
«Клуб 36, 6» Рязанский пер., д. 3

В Петербурге:

«Петербургский Дом книги» Невский пр., д. 28
«Буквоед» сеть магазинов
«Индиго» Невский пр., д. 32-34
ДК им. Крупской, стенд фирмы «Ретро»
«Дарт» ул. Колокольная, д. 1

через Интернет:

"Ozon" ozon.ru
"Esterum" esterum.ru
"Petropol" petropol.com
«Болеро» bolero.ru
«Чакона» chaconne.ru
«Международная книга» mkniga.ru
«Лавка Я + Я» shop.gay.ru/books

По вопросу оптовых продаж
обращаться в ООО «Берроунз», тел. (495) 104-6836

Все книги нашего издательства можно заказать
наложенным платежом в редакции на сайте kolonna.org

Пол Боулз
ПУСТОЙ АМУЛЕТ

Kolonna Publications. Россия, Тверь, а/я 2448
Подписано в печать 18. 06. 2007. Тираж 1000 экз. Заказ № 1798
Формат 70 x 100/32. Объем 6.5 п. л. Гарнитура ITC Charter
Подготовлено на оборудовании Apple Macintosh
Отпечатано в Котовской типографии
403800, Волгоградская обл., г. Котово,
ул. Коммунистическая, д. 84. Тел. (255) 4-49-10, 2-23-91